Злая мачеха на самом деле устала



Автор Bad Rabbit

Bad Rabbit

Злая мачеха на самом деле устала

«Автор»
2026

Rabbit B.

Злая мачеха на самом деле устала / B. Rabbit — «Автор», 2026

Она умерла на диване в школьном кабинете. В 19:27. От инфаркта. Ей было тридцать восемь, и последняя мысль была: «Я так устала быть полезной для всех, кроме себя».Потом она проснулась — в теле злой мачехи из сказки. Чужое лицо, чужой замок, семилетняя падчерица, которая вжимается в стену при её появлении, и волшебное Зеркало, которое скучающим голосом требует: «Спроси, кто прекрасней всех на свете. Это триггер твоей арки».Элара отвечает «нет».И сказка начинает трескаться.Яблоки появляются из ниоткуда и не горят в огне. Лестницы рушатся под ногами ребёнка. Охотник не может остановить собственные ноги. А невидимый Сюжет — сила, которая сорок три цикла гнала эту историю к одному и тому же финалу: стеклянный гроб, поцелуй принца, костёр для мачехи, — не привык к отказам.У Элары нет магии, меча и армии. Зато есть пятнадцать лет работы школьным психологом, упрямство женщины, которая уже один раз умерла от того, что всем уступала.

© Rabbit B., 2026
© Автор, 2026

Bad Rabbit
Злая мачеха на самом деле устала

Злая мачеха на самом деле устала
Пролог. Последний рабочий день
В кабинете школьного психолога пахло мандаринами и чужими слезами.

Мандарины — потому что ноябрь, и кто-то из третьеклассников забыл на подоконнике сетку с фруктами ещё в понедельник. Слёзы — потому что так пахнет кабинет Элары всегда. Пятнадцать лет работы въедаются в стены, в обивку кресла, в тот самый плед с оленями, который она когда-то купила, чтобы детям было уютнее, а теперь он просто пахнет. Всем. Сразу.

Элара сидела за столом, подперев подбородок рукой, и смотрела на часы. Было без двадцати семь. За окном — темно, мокро, фонарь мигал, как будто тоже устал и хотел домой.

На столе лежала стопка карточек. На каждой — имя, класс, краткое описание проблемы. «Даниэль, 8 лет, агрессивное поведение после развода родителей». «Софи, 14 лет, селфхарм, не хочет, чтобы мать знала». «Адриан, 11 лет, перестал разговаривать после смерти бабушки».

Тридцать две карточки. Тридцать два ребёнка, которым она сегодня, вчера и позавчера объясняла, что их чувства — настоящие, что они не сломаны, что мир не рухнет, если они поплачут.

Она верила в каждое слово. Это и была проблема.

День начался в восемь утра с Даниэля, который швырнул стул в стену и заорал, что ненавидит всех. Элара не моргнула. Она села на пол рядом с ним — не напротив, не над, а рядом, — и сказала: «Знаешь, я тоже иногда хочу швырнуть стул. Особенно по понедельникам.» Даниэль посмотрел на неё подозрительно. «Правда?» — «Правда. Но стулья тяжёлые, а у меня спина болит. Поэтому я просто глубоко дышу.» Он не засмеялся, но стул больше не летал. К концу сессии он сказал, что папа обещал забрать его на выходные и не забрал. В третий раз. Элара кивнула и подумала, что её собственный бывший муж тоже обещал. Не забрать ребёнка — у них не было детей, — а просто позвонить. Не позвонил. В четвёртый раз.

Потом была Софи. Тихая, с длинными рукавами даже в тёплом классе, с глазами, которые смотрели сквозь собеседника, а не на него. Софи сказала: «Мне не больно, когда я это делаю. Мне больно, когда я не делаю.» Элара провела с ней полтора часа вместо положенных сорока минут. Она знала, что не должна так делать. Знала, что это нарушение границ, что она не спасатель, что выгорание начинается именно с таких «ещё чуть-чуть». Но Софи было четырнадцать, и у неё были руки, покрытые шрамами, как карта дорог, по которым никто не хочет ехать. Как Элара могла сказать ей «время вышло»?

Потом Адриан. Молчание. Сорок минут тишины, во время которых Элара просто сидела рядом и рисовала каракули на листке, чтобы мальчик не чувствовал давления. В конце он взял у неё карандаш и нарисовал дом. Без окон. «Это мой дом», — сказал он. И ушёл. Элара смотрела на рисунок ещё десять минут после его ухода. Потом убрала в папку, где уже лежали шестьдесят таких домов.

Телефон зазвонил в 18:42.

Элара посмотрела на экран. Мама.

Она подумала три секунды. Потом нажала «ответить».

— Эллочка, ты опять на работе? — Голос матери был одновременно нежным и колючим, как роза, которую тебе суют в лицо шипами вперёд. — Я звоню в седьмой раз за неделю, и ты ни разу не перезвонила.

— Мам, я на работе.

— В семь вечера? В семь вечера? Эллочка, тебе тридцать восемь. В тридцать восемь я уже родила тебя и твою сестру, закончила курсы кройки и шитья и испекла торт на юбилей отцу. А ты сидишь в школе и слушаешь, как чужие дети жалуются на жизнь. У тебя своей жизни нет.

Элара закрыла глаза. Она знала этот разговор наизусть. Он повторялся с вариациями лет десять. Раньше она спорила. Потом оправдывалась. Сейчас просто ждала паузы, чтобы вставить дежурное «ты права, мам, я постараюсь».

— Я стараюсь, мам.

— Ты стараешься. Знаешь, что говорит твоя сестра? Она говорит, что ты выбрала быть одной. Что тебе так удобнее. Что ты прячешься за чужими проблемами, чтобы не решать свои.

«Твоя сестра» — это Лина, у которой муж, двое детей, дом с газоном и соцсети, полные фотографий завтраков. Лина, которая звонила Эларе раз в полгода, чтобы спросить, не хочет ли она «наконец-то познакомиться с нормальным мужчиной, у Марка есть друг». Лина, которая не знала, что Элара три года назад ходила к психотерапевту сама, потому что однажды ночью не могла перестать плакать в душе и не понимала почему.

— Мам, мне пора. Завтра рано вставать.

— Конечно. Конечно, Эллочка. Ты всегда занята. Мы привыкли.

Щелчок. Тишина.

Элара положила телефон на стол экраном вниз. Потом перевернула его обратно, потому что привычка — страшная сила, и она боялась пропустить сообщение. От кого — она не знала. От всех. Ни от кого.

В 19:03 пришло сообщение от Карлы.

«Эл, прости, я не могу сегодня. У Тома температура, я сижу с ним. Давай на следующей неделе? Обещаю!»

Это был четвёртый перенос за месяц. Элара ответила: «Всё в порядке, не переживай, выздоравливайте!» — и поставила смайлик. Она всегда ставила смайлики. Смайлики — это вежливый способ сказать «я не обижаюсь», даже когда ты обижаешься.

Карла была её лучшей подругой. Единственной, если честно. Они познакомились в университете, двадцать лет назад, и Карла была единственным человеком, с которым Элара могла молчать и не чувствовать неловкости. Но у Карлы была семья, работа, жизнь, которая требовала её целиком. А у Элары была… работа. Которая требовала её целиком. И они обе были заняты, и встречи откладывались, и однажды, Элара знала, они отложатся навсегда, и это будет не трагедия, а просто тихое угасание, как лампочка, которая мигает-мигает и гаснет.

Она открыла чат с Рено. Бывшим мужем. Последнее сообщение — от него, две недели назад: «Элара, юрист говорит, что нам нужно пересмотреть условия раздела имущества. Ты не подписала документы. Это не может висеть вечно.»

Она не ответила. Не потому что злилась — злость давно выгорела, как свеча, которую забыли потушить. А потому что каждый раз, когда она видела его имя, она вспоминала не развод, не ссоры, не то, как он сказал «ты слишком много работаешь, я чувствую себя одиноким в этом браке», — а то, как в первые годы он приносил ей кофе в этот самый кабинет и говорил: «Ты делаешь важное дело, я тобой горжусь.»

Куда делся тот Рено? Куда делась та Элара, которая верила, что можно быть хорошей для всех и при этом не рассыпаться?

В 19:15 она встала, чтобы выключить свет в коридоре, и поймала своё отражение в стекле двери.

Остановилась. Посмотрела.

Женщина в зеркале выглядела… нормально. Не старой, не молодой. Не красивой, не некрасивой. Просто уставшей. Тёмные круги под глазами, которые не брал ни один консилер. Волосы, собранные в пучок, из которого выбивались пряди, как мысли, которые она не успевала додумать. Блузка, которую она надела утром, не глядя, и которая теперь выглядела так, будто её жевали.

«Ты выглядишь как человек, который всё держит на себе, — сказала она отражению. — И знаешь, что будет, если ты отпустишь? Ничего. Мир не рухнет. Просто никто не заметит.»

Отражение не ответило. Оно и не должно было.

В 19:22 она легла на диван.

Тот самый, в углу кабинета, с обивкой цвета пыльной лаванды, на котором дети иногда засыпали после особенно тяжёлых сессий. Диван был коротковат для её роста, и ноги свисали с подлокотника, но ей было всё равно.

Она закрыла глаза.

«Пять минут, — сказала она себе. — Просто пять минут. Потом встану, выключу свет, доеду домой, разогрею суп, позвоню маме, отвечу Рено, напишу Карле, проверю почту, подготовлю материалы на завтра, полью цветы, приму душ, лягу спать, встану в шесть, и всё начнётся сначала.»

Список дел крутился в голове, как карусель, которая не может остановиться. Она попробовала мысленно убрать один пункт. Потом другой. Но каждый пункт был важным, каждый был нужным, каждый был для кого-то, и если она уберёт его — кому-то будет плохо, и этот «кто-то» будет расстроен, и она будет виновата, и…

«Я так устала», — подумала она.

Не вслух. Даже для себя — тихо, как будто боялась, что кто-то услышит и попросит её ещё немного потерпеть.

«Я так устала быть полезной для всех, кроме себя.»

Мысль была не новой. Она приходила к ней годами — в душе, в метро, в три часа ночи, когда она просыпалась от того, что сердце колотилось без причины. Но раньше она отмахивалась. Завтра будет лучше. На следующей неделе отпуску. Когда закончу с этим проектом. Когда Даниэль перестанет швырять стулья. Когда Софи перестанет резать руки. Когда мама перестанет звонить. Когда Рено перестанет требовать. Когда Карла найдёт время. Когда. Когда. Когда.

«Когда» не наступило.

В 19:27 ей стало тяжело дышать.

Не паника — панику она знала, паника была острой и громкой, а это было тихим, как будто кто-то медленно выкручивал громкость её тела. Грудь сдавило. Левая рука онемела. Она подумала: «Странно». Потом: «Наверное, я просто устала». Потом: «Нужно встать».

Она не встала.

Сердце — то самое, которое пятнадцать лет разрывалось между чужими бедами, — сделало последний неровный удар и остановилось. Как часы, которые забыли завести.

Элара не испугалась. Это было самое удивительное. Она ожидала страха, паники, вспышки воспоминаний — всего того, о чём читала в книгах и что описывали её клиенты, пережившие клиническую смерть. Но вместо страха было облегчение. Как будто кто-то наконец-то сказал ей: «Можешь лечь. Тебе больше не нужно вставать.»

Последнее, что она увидела, — потолок кабинета. Белые плитки, одна из них кривая. Она хотела попросить завхоза поправить её ещё в сентябре. Не попросила.

«Ну вот, — подумала она. — Так и останется кривой.»

Потом темнота.

Темнота была не пустой.

Она была плотной, как ткань, как страницы закрытой книги. И в этой темноте был звук — не голос, не шёпот, а что-то между: шелест, скрип пера, хруст бумаги, которую кто-то переворачивает.

А потом — слова. Чёткие, безэмоциональные, как объявление на вокзале:

«Роль свободна. Назначение произведено.»

Элара хотела спросить: «Какая роль? Какое назначение? Я не подавала заявку.»

Но у неё больше не было рта. Не было голоса. Не было тела, которое могло бы устать.

Была только темнота, шелест страниц и ощущение — странное, невозможное, но отчётливое, — что кто-то перелистывает её жизнь, как черновик, который не прошёл редактуру, и ищет место, куда вписать её заново.

«Сюжет запущен. Точка входа: утро. Локация: замок. Роль: антагонист. Статус: активна.»

«Подождите, — подумала Элара, или то, что от неё осталось. — Я не… Я не хочу…»

Но её уже не спрашивали.

Её назначили.

Свет.

Резкий, золотистый, пахнущий воском и чем-то сладким — не мандаринами, нет, чем-то другим, тяжёлым, старинным.

Тело. Её тело? Нет. Чужое. Моложе. Легче. С длинными волосами, которые щекочут шею, и с кольцом на пальце, которое давит, как наручник.

Глаза открылись.

Потолок. Не белые плитки. Балдахин. Шёлк. Золотая вышивка.

И тишина — не та, что в пустом кабинете, а та, что бывает в огромных пустых залах, где эхо ещё не решило, стоит ли ему возвращаться.

Элара — или то, что теперь было Эларой, — моргнула. Посмотрела на свои руки. Чужие руки. Тонкие, бледные, с длинными ногтями, которые она никогда не отращивала.

Посмотрела на пустую половину кровати. На записку на тумбочке. На зеркало в углу комнаты, огромное, в чёрной раме, покрытое тканью.

И подумала — медленно, с той самой усталостью, которая, как оказалось, пережила даже смерть:

«Только не это. Только не снова.»

Но зеркало под тканью шевельнулось. Как будто вздохнуло.

Как будто ждало.

Глава 1. Не то зеркало

Первое, что она почувствовала, — это простыни.

Не те, к которым привыкла: тонкий хлопок из масс-маркета, который после третьей стирки превращался в нечто среднее между марлей и наждачной бумагой. Эти были тяжёлыми, прохладными и скользкими, как вода. Шёлк. Настоящий шёлк, который она видела только в витринах магазинов, куда заходила погреться в обеденный перерыв и откуда уходила, не глядя на ценники.

Второе — запах. Воск, дерево, что-то цветочное, густое и сладковатое, как будто кто-то разлил духи в закрытой комнате и они настоялись за несколько десятилетий. Не мандарины. Не антисептик. Не тот запах школьного коридора, который она впитала в себя за пятнадцать лет и который, казалось, уже никогда не выветрится.

Третье — тишина.

Не та тишина, что бывает в квартире, когда наконец-то затихли соседи сверху и холодильник перестал гудеть. Эта тишина была объёмной. Она давила на уши, как вода на глубине, и в ней не было ни одного знакомого звука: ни машин за окном, ни лифта в шахте, ни чьего-то телефона на вибрации за стеной. Ничего. Только её дыхание — и оно звучало неправильно. Слишком ровно. Слишком глубоко. Как будто у неё были другие лёгкие.

Элара открыла глаза.

Потолок. Не белые плитки. Не кривая плитка, которую она так и не попросила поправить. Камень. Серый, грубо обтёсанный, с трещинами, в которых, наверное, жили пауки размером с ладонь. Поверх камня — деревянный балдахин, задрапированный тёмно-бордовым шёлком, с кистями, каждая из которых стоила бы, наверное, как её месячная зарплата.

Она моргнула. Потолок не изменился.

«Ладно, — подумала она. — Либо я в коме, либо в гостинице, которую не могу себе позволить, либо…»

Она попыталась сесть. Тело послушалось — но не так, как она привыкла. Не было привычного хруста в пояснице, не было тупой боли в правом колене, которое она повредила ещё в университете и которое ныло каждый раз, когда менялась погода. Тело было лёгким. Гибким. Чужим.

Элара посмотрела на свои руки.

Руки были не её.

Она знала свои руки наизусть: короткие ногти, обгрызенные от стресса, шрам на указательном пальце от ножа для бумаги, мозоль на среднем от ручки, которую она держала неправильно с третьего класса. Эти руки были длинными, бледными, с тонкими запястьями и ногтями — миндалевидными, ухоженными, покрытыми чем-то тёмным, похожим на лак, но с лёгким перламутровым отливом, какого она не видела ни в одном салоне.

Она пошевелила пальцами. Пальцы двигались плавно, как у пианистки. Элара не умела играть на пианино.

«Окей, — сказала она вслух. Голос тоже был чужой: ниже её собственного, с хрипотцой, как будто его обладательница много молчала или много кричала — и то и другое, судя по ощущениям в горле. — Окей. Без паники. Ты психолог. Ты пятнадцать лет работала с людьми в кризисных состояниях. Ты знаешь протокол.»

Протокол гласил: заземлиться. Пять вещей, которые ты видишь. Четыре, которые слышишь. Три, которые можешь потрогать. Два, которые чувствуешь на запах. Одно, которое можешь попробовать на вкус.

Она огляделась.

Вижу: каменный потолок. Балдахин. Огромное окно с витражным стеклом, за которым — серый рассвет и башни. Башни. Не многоэтажки, не трубы котельной, а каменные башни с остроконечными крышами, как на открытках из тех, что продают в музейных лавках.

Слышу: тишину. Скрип дерева — где-то далеко, как будто дом оседает. Шорох ткани, когда она пошевелилась. И… нет, больше ничего. Никаких машин. Никаких голосов.

Трогаю: шёлковую простыню. Холодный камень стены, до которой она дотянулась, вытянув руку. Собственные волосы — длинные, густые, рассыпанные по подушке, как тёмная река. Её волосы были короткими. Она стриглась под каре с двадцати пяти лет, потому что на длинные не было времени.

Запах: воск, дерево, цветы. И ещё что-то металлическое, едва уловимое, как запах старых монет.

Вкус: кровь. Она прикусила губу — не специально, а от шока, — и на языке появился медный привкус. Значит, тело настоящее. Значит, она не спит.

«Или сплю, — поправила она себя, — но очень убедительно.»

Комната была огромной. Не «большой» — огромной. Такой, в которой можно было бы разместить её квартиру целиком: и кухню, и спальню, и тот самый кабинет, в котором она умерла. Стены — серый камень, местами закрытый гобеленами с выцветшими сценами охоты: всадники, собаки, олень с неестественно большими рогами. Пол — тёмное дерево, отполированное до блеска, холодное даже через простыни. Камин — размером с небольшой автомобиль, потухший, с горкой пепла, которая выглядела так, будто огонь не разводили неделями.

Мебели было мало, и вся она казалась нежилой. Кровать — та самая, с балдахином, — стояла в центре, как экспонат. Два кресла у камина — с прямыми спинками, без подушек, на

которых невозможно расслабиться. Стол у окна — завален свитками. Не бумагой, не папками, а свитками, перевязанными лентами, с сургучными печатями. Рядом — чернильница и перо. Не шариковая ручка. Перо.

«Я в историческом музее, — подумала Элара. — Или в тематическом парке. Или…»

Её взгляд зацепился за тумбочку у кровати. На ней — свеча в подсвечнике (оплывшая, давно не горевшая), графин с водой, стакан и сложенный листок бумаги.

Она взяла листок. Почерк — размашистый, небрежный, как у человека, который привык, что его записки читают не для содержания, а для подчинения.

«Уехал на границу. Вернусь к зиме. Не беспокойся о делах — Генрик обо всём позаботится. Т.»

Ни «люблю», ни «скучаю», ни «как ты себя чувствуешь». Просто констатация факта, как служебная записка. Элара перечитала три раза, пытаясь найти между строк что-то тёплое, и не нашла. Она знала такие записки. Рено писал ей похожие в последние годы брака: «Задержусь. Не жди. Р.» Четыре слова. Ни одного лишнего.

«Т.», — повторила она. — Кто такой Т.? Муж? Судя по кольцу на пальце — да.»

Кольцо было тяжёлым, золотым, с тёмным камнем, который она не смогла определить. Не бриллиант — слишком мрачный, почти чёрный, с фиолетовым отливом. Не обручальное в привычном смысле — скорее, символическое. Как печать. Как метка.

Она попыталась снять его. Кольцо не поддалось. Не потому что было мало — оно сидело идеально, — а потому что не хотело. Как будто металл вцепился в палец.

«Странно», — подумала она и отложила эту мысль в папку «разобраться позже», которая в её голове уже начинала переполняться.

Она встала с кровати. Ноги коснулись холодного пола, и тело — чужое, незнакомое, пугающе послушное — выпрямилось с грацией, которой у неё никогда не было. Элара в прошлой жизни ходила, слегка сутулясь, — привычка, выработанная годами сидения за столом и склонения над детскими рисунками. Это тело стояло прямо, как струна, как будто позвоночник был сделан из стали.

Она сделала несколько шагов по комнате. Пол скрипел под ногами. Гобелены колыхались от сквозняка, хотя окна были закрыты. Свечи на стенах — десятки свечей, вставленных в железные держатели, — были потухшими, но фитили выглядели свежими, как будто их только что затушили.

«Где выключатель?» — подумала она по привычке и тут же усмехнулась. Выключателей не было. Ни одного. Ни розеток, ни проводов, ни ламп. Только свечи, камин и витражное окно, через которое пробивался серый утренний свет.

Она подошла к окну и выглянула наружу.

Двор. Каменный, с фонтаном в центре, который не работал — чаша была пуста, статуя наверху покрыта мхом. Вокруг — стены. Высокие, зубчатые, с башнями по углам. За стенами — лес. Густой, тёмный, бесконечный, как на иллюстрациях в детских книжках, где за каждым деревом прячется волк.

«Замок, — сказала Элара вслух. — Я в замке.»

Слово прозвучало абсурдно. Как если бы она сказала «я на Луне» или «я внутри стиральной машины». Замки бывают в туристических брошюрах, в исторических сериалах, в сказках, которые она читала племяннице по воскресеньям.

Сказки.

Мысль пришла внезапно, как удар током, и Элара замерла.

В углу комнаты, за ширмой, стояло зеркало.

Она не заметила его сразу — оно было закрыто тяжёлой тканью, тёмно-зелёной, с вышитыми по краям серебряными нитями. Ткань лежала неподвижно, но что-то в её форме — в том, как она облегала раму, — напоминало фигуру человека, который стоит, опустив голову.

Элара подошла ближе. Сердце — чужое сердце, в чужой груди, — забилось быстрее. Не от страха. От узнавания. Она не видела этого зеркала раньше, но она знала его. Так же, как знаешь лицо человека из сна, которого никогда не встречал наяву.

Она протянула руку и стянула ткань.

Зеркало было огромным. В человеческий рост, в раме из чёрного металла, который переплетался, как корни деревьев, с вплетёнными в узор змеями, шипами и чем-то, похожим на закрытые глаза. Стекло было чистым — неестественно чистым, без единого пятна, без пыли, без отпечатков, как будто его только что протёрли или как будто грязь боялась к нему прикасаться.

И в зеркале стояла женщина.

Высокая. Очень высокая — выше, чем Элара была в прошлой жизни, сантиметров на десять, не меньше. Тёмные волосы до пояса, прямые, тяжёлые, как шёлковая ткань. Кожа бледная, почти прозрачная, с резкими скулами и тонкими губами, которые выглядели так, будто их обладательница редко улыбалась и часто поджимала. Глаза — тёмно-зелёные, почти чёрные, с длинными ресницами и взглядом, который даже в отражении казался острым, как лезвие.

Красивая. Безусловно, объективно красивая — той холодной, пугающей красотой, от которой хочется отвести взгляд, потому что тебе кажется, что если ты будешь смотреть слишком долго, она заметит и запомнит.

Элара знала это лицо.

Она видела его в книжке, которую читала племяннице Лине — не сестре Лине, а маленькой Лине, дочери сестры, которой было шесть лет и которая засыпала только под сказки.

Книжка была старой, с потёртыми страницами и иллюстрациями, от которых Эларе всегда было немного не по себе: яркие, контрастные, с преувеличенными эмоциями, как будто художник хотел, чтобы ребёнок точно понял, кто здесь хороший, а кто — нет.

На одной из иллюстраций была женщина. Высокая, бледная, с тёмными волосами и зелёными глазами. Она стояла перед зеркалом и спрашивала: «Кто прекрасней всех на свете?» А зеркало отвечало ей то, что она не хотела слышать.

Злая мачеха.

Та самая.

Из той самой сказки.

«Нет, — сказала Элара. Голос дрогнул. — Нет, нет, нет. Этого не может быть. Это…»

Она дотронулась до стекла. Стекло было тёплым. Не холодным, как обычное зеркало, а тёплым, как кожа. Она отдёрнула руку.

Отражение не повторило её движения.

На долю секунды — на одну, может быть, на две — женщина в зеркале улыбнулась. Не Элара. Не её новое лицо. Само отражение. Улыбка была тонкой, кривой, и в ней не было ничего доброго.

Потом отражение синхронизировалось, и Элара снова увидела просто себя — чужую себя, незнакомую, с испуганными глазами и рукой, прижатой к груди.

«Я в сказке, — подумала она. Мысль была на удивление спокойной, как будто мозг решил, что если уж сходить с ума, то лучше делать это методично. — Я умерла в школьном кабинете, и теперь я в сказке. Я — злая мачеха. Та, которая отравит падчерицу яблоком. Та, которую в конце сожгут на костре или заставят танцевать в раскалённых башмаках — в зависимости от издания.»

Она вспомнила, как читала эту книжку племяннице. Как маленькая Лина спрашивала: «А почему мачеха злая? Она родилась злой?» И Элара отвечала — потому что она была психологом и не могла удержаться: «Нет, малышка. Злыми не рождаются. Злыми становятся, когда им очень больно и никто не помогает.» Лина кивала, не до конца понимая, и просила перевернуть страницу.

«И вот я здесь, — подумала Элара. — На той самой странице. И никто не перевернет.»

Паника пришла не сразу. Сначала было оцепенение — то самое, которое она видела у своих клиентов в первые минуты после травмы, когда мозг ещё не решил, бежать или замереть, и выбирает ничего. Она стояла перед зеркалом и смотрела на чужое лицо, и в голове было пусто, как в том самом кабинете, когда все дети уже ушли и она оставалась одна.

Потом паника пришла. Короткая, острая, как укол. Дыхание сбилось. Руки затряслись. Она схватилась за раму зеркала — металл был холодным, и змеи в узоре, ей показалось, шевельнулись под пальцами, — и закрыла глаза.

«Дыши, — сказала она себе. Голосом чужого тела, низким и хриплым. — Четыре счёта вдох, семь задержка, восемь выдох. Ты знаешь это. Ты учила этому Софи, когда у неё были панические атаки. Ты можешь научить себя.»

Вдох. Задержка. Выдох.

Вдох. Задержка. Выдох.

На третьем цикле руки перестали трястись. На пятом — дыхание выровнялось. На седьмом она открыла глаза и посмотрела на своё отражение уже не как жертва, а как специалист.

«Итак, — сказала она зеркалу. — Давай разберёмся. Факты. Я в теле злой мачехи из сказки. Муж — король, судя по замку и записке. Уехал. Вернётся к зиме. Сейчас, судя по свету и температуре, осень. Значит, у меня есть время. Падчерица… где-то здесь. В замке. Живая, надеюсь. Зеркало…» Она покосилась на раму. «…пока молчит. Это хорошо. В сказке зеркало — триггер. Пока я его не спрашиваю, сюжет не запускается. Или уже запустился? Я не знаю правил. Это проблема.»

Она отошла от зеркала и начала осматривать комнату систематически, как осматривала кабинет нового клиента: что на стенах, что на полках, что в ящиках, что спрятано.

Шкаф — огромный, встроенный в стену, с дверцами из тёмного дерева. Она открыла его и замерла.

Платья. Десятки платьев. Все — тёмные. Чёрные, тёмно-синие, бордовые, тёмно-зелёные, цвета запёкшейся крови. С высокими воротниками, длинными рукавами, затянутыми талиями, шлейфами. Ни одного светлого. Ни одного мягкого. Ни одного, в котором можно было бы дышать.

Она вытащила одно наугад — чёрное, бархатное, с вышивкой серебряными нитями, изображающей шипы. Приложила к себе. Платье село идеально, как влитое, и тут же сделало её похожей на персонажа готического романа, который вот-вот кого-нибудь отравит.

«Мне что, костюмер уже поработал?» — пробормотала она, роясь дальше. Нашла одно платье чуть светлее — тёмно-серое, почти серебристое, — и обрадовалась, пока не заметила, что на спине у него вышит ворон с расправленными крыльями. «Спасибо, нет.»

На нижней полке — туфли. Острые носы, высокие каблуки, тёмная кожа. Ни одной пары, в которой можно было бы пробежать больше десяти метров. На верхней — головные уборы, вуали, диадемы с тёмными камнями.

«Это не гардероб, — подумала Элара. — Это униформа. Кто-то — или что-то — одело это тело в роль задолго до того, как я в него вселилась.»

Она захлопнула шкаф и прислонилась к нему спиной. Комната кружилась. Не физически — пол был твёрдым, стены стояли на месте, — но смыслово. Всё, что она видела, кричало об одном: ты здесь не случайно, ты здесь не гостья, ты здесь — функция. Роль. Персонаж. Антагонист.

«Я не антагонист, — сказала она вслух, и голос прозвучал тише, чем ей хотелось. — Я психолог. Я помогаю людям. Я не отравляю детей и не спрашиваю у зеркал, кто красивее. Я…»

Она осеклась.

Потому что в прошлой жизни она тоже была функцией. Не антагонистом, нет, — инструментом. Тем, к кому приходят, когда больно, и от кого уходят, когда полегчает. Тем, кто держит чужие слёзы, чужие крики, чужие молчания, и никогда не просит ничего взамен, потому что «ты же психолог, ты должна быть сильной». Тем, кто умер на диване в пустом кабинете, и никто не заметил до утра, потому что уборщица пришла только в восемь.

«Разница в том, — подумала она, — что в прошлой жизни я выбрала эту роль сама. А здесь меня назначили.»

Глава 2. Девочка, которая ждёт удара

Плач она услышала не сразу.

Сначала — тишина, к которой она уже начала привыкать, как привыкаешь к шуму в ушах после того, как слишком долго слушаешь громкую музыку. Потом — скрип дерева, оседание камня, дыхание замка, который был старым и, вероятно, тоже уставшим. И только потом, когда она стояла у шкафа с «злодейским гардеробом» и пыталась решить, что хуже — платье с вороном на спине или платье с вышитыми черепами на подоле, — до неё донёсся звук.

Тихий. Прерывистый. Тот самый звук, который она слышала сотни раз за пятнадцать лет работы и который невозможно спутать ни с чем другим: ребёнок, который плачет, стараясь не быть услышанным.

Не громкий плач — громкий плач означает, что ребёнок верит, что кто-то придёт. Это тихий, сдавленный, загнанный внутрь плач ребёнка, который уже знает: никто не придёт. Или, что хуже, придёт не тот, кто нужен.

Элара замерла.

Тело отреагировало раньше мозга. Ноги двинулись к двери, рука потянулась к ручке — и в этом движении была пугающая уверенность, как будто тело знало дорогу. Как будто оно ходило этим маршрутом раньше. Не к ребёнку, который плачет, чтобы утешить. А к ребёнку, который плачет, чтобы прекратить.

«Стоп, — сказала она себе, останавливаясь на пороге. — Это не твои ноги. Не твои рефлексы. Ты не она.»

Но тело помнило. И это было хуже, чем всё остальное — хуже, чем чужое лицо в зеркале, хуже, чем шкаф с платьями для злодеек, хуже, чем кольцо, которое не снималось. Тело помнило

жестокость, которую она не совершала. Мышцы хранили привычку к насилию, как тело её клиента Адриана хранило привычку вздрагивать от хлопка двери, хотя отец, который его бил, ушёл три года назад.

Элара сжала кулаки — чужие, с длинными ногтями — и заставила себя дышать. Четыре-семь-восемь. Потом открыла дверь и пошла на звук.

Коридор был длинным, тёмным и холодным, как все коридоры во всех замках во всех сказках, которые она когда-либо читала. Каменные стены, факелы в железных кольцах — потухшие, разумеется, — гобелены, на которых какие-то рыцари вечно сражались с какими-то драконами и, судя по выражению лиц рыцарей, тоже не понимали, зачем им это нужно. Пол — тот же тёмный камень, скользкий от сырости. Воздух пах пылью и чем-то сладковатым, как старые цветы, которые забыли выбросить.

Плач доносился откуда-то справа. Элара свернула в боковой проход — уже, ниже, с потолком, который давил на макушку, — и увидела.

Девочка.

Семь лет, может быть, восемь — трудно определить, когда ребёнок свёрнут в комок и пытается занять как можно меньше места в пространстве, как будто извиняется за то, что существует. Тёмные волосы, спутанные, с засохшими листьями — она что, была на улице? Платье — голубое, когда-то красивое, теперь грязное и порванное на колене. Огромные глаза — карие, с длинными ресницами, мокрые от слёз, — которые смотрели на приближающуюся Элару с таким ужасом, что у Элары внутри что-то оборвалось.

Рядом с девочкой — осколки вазы. Фарфоровой, с росписью, которая когда-то, наверное, стоила целое состояние, а теперь лежала на полу бесполезной горкой черепков. Лужа воды растекалась по камню, в ней плавали обломки стеблей и лепестки — белые, уже увядшие.

Мира.

Элара знала это имя, хотя никто его не называл. Знала так же, как знала лицо в зеркале — из книжки, из сказки, из того самого сюжета, в котором ей назначили роль. Падчерица. Будущая принцесса. Та, которую злая мачеха должна отравить, изгнать, погубить — в зависимости от издания.

Сейчас Мира вжалась в стену, обхватила колени руками и закрыла голову локтями. Классическая поза защиты. Элара видела её десятки раз — у Даниэля, у Софи, у детей, которых приводили к ней после того, как взрослые, которым они доверяли, делали вещи, о которых взрослые не должны даже думать.

Поза говорила: «Я знаю, что будет дальше. Я знаю, что ты ударишь. Я просто жду, чтобы это закончилось быстрее.»

И тело Элары — это проклятое, чужое, предательское тело — отреагировало. Рука дёрнулась. Не к лицу, нет, — к плечу, чтобы схватить, чтобы встряхнуть, чтобы поставить на ноги и отчитать за разбитую вазу, за грязное платье, за слёзы, которые раздражают, потому что напоминают о чём-то, о чём не хочется помнить. Движение было автоматическим, вшитым в

мышцы, как рефлекс, и Элара поймала свою руку на полпути и сжала её в кулак так, что ногти впились в ладонь.

«Нет, — подумала она, и мысль была яростной, почти криком. — Нет. Не через меня. Не этим телом. Не этими руками.»

Она сделала то, что делала пятнадцать лет. То, чему её учили на курсах, что она практиковала с сотнями детей и что было единственным инструментом, который никогда не подводил.

Она села на пол.

Не рядом с Мирой — это было бы ошибкой, напуганный ребёнок не терпит вторжения в личное пространство, и Элара знала это лучше, чем кто-либо. Она села в двух метрах, спиной к противоположной стене, на холодный камень, не заботясь о том, что шёлковая ночная рубашка — она так и не переоделась — мгновенно пропитается сыростью. Вытянула ноги. Скрестила руки на груди. И замолчала.

Мира не шевелилась. Плач стих — не потому, что девочка успокоилась, а потому, что она затаила дыхание, как животное, которое слышит хищника и надеется, что если не дышать, хищник пройдёт мимо.

Одна минута. Две. Три.

Камень был ледяным. Элара чувствовала, как холод пробирается через ткань, через кожу, в кости — в чужие кости, которые, впрочем, мёрзли так же убедительно, как и свои. Где-то в глубине замка скрипнула дверь. Капала вода — из лужи, из вазы, из трещины в потолке. Мира дышала быстро и поверхностно, и каждый вдох был слышен в тишине коридора, как тиканье часов.

Пять минут. Семь.

Элара не смотрела на Миру. Это было важно. Прямой взгляд для напуганного ребёнка — угроза. Она смотрела на осколки вазы, на лужу, на лепесток, который прилип к камню и выглядел так, будто тоже устал.

Девять минут. Десять.

Мира чуть-чуть опустила локти. Совсем немного — на сантиметр, может быть, на два. Но для Элары этот сантиметр был громче, чем крик. Это был первый сигнал: «Ты не бьёшь. Почему ты не бьёшь?»

Элара вздохнула. Не демонстративно — просто устало. И сказала тихо, глядя на осколки:

— Ваза была уродливая.

Пауза. Тишина, в которой слышно, как Мира дышит.

— Серьёзно, — продолжила Элара тем же тоном, каким разговаривала с Даниэлем, когда он швырял стулья. Спокойно, без осуждения, с лёгкой иронией, которая не требует ответа. —

Кто вообще ставит вазу с цветами в коридор, где нет окон? Цветы без света не живут. Это как держать рыбку в шкафу. Бессмысленно и жестоко — по отношению к цветам, не к тебе. Я бы тоже её разбила. Чисто из принципа.

Мира не засмеялась. Семилетние дети, которые ждут удара, не смеются над шутками — у них нет на это ресурса. Но она опустила руки. Полностью. И посмотрела на Элару — быстро, мельком, как человек, который выглядывает из-за укрытия, чтобы проверить, не ушёл ли враг.

Глаза были огромными. В них было столько страха и столько надежды одновременно, что Элара почувствовала, как к горлу подступает ком — тот самый, который она привыкла глотать, потому что психолог не имеет права плакать при клиенте.

— Ты не будешь… — начала Мира и осеклась. Голос был хриплым от плача, тихим, с той интонацией, которая бывает у детей, привыкших, что их не слышат.

— Не буду что? — спросила Элара мягко.

Мира промолчала. Не потому что не знала ответа, а потому что слово было слишком страшным, чтобы произнести его вслух. Но Элара знала это слово. Она слышала его в сотнях вариаций: «Ты не будешь кричать?», «Ты не будешь бить?», «Ты не будешь запирать?», «Ты не будешь уходить?»

— Нет, — сказала она. — Не буду.

Она не стала уточнять, что именно «не буду». Не стала обещать, что «всё будет хорошо», потому что это была бы ложь, а Элара ненавидела ложь больше, чем усталость, а это о чём-то говорило. Она просто сказала «нет» и замолчала, и это «нет» повисло в воздухе коридора, как обещание, которое она ещё не знала, как выполнить.

Мира моргнула. Слёзы на её щеках начали подсыхать, оставляя грязные разводы. Она посмотрела на осколки вазы, потом на Элару, потом снова на осколки.

— Она была не уродливая, — сказала Мира тихо. — Она была мамина.

Элара почувствовала, как что-то внутри неё сжалось. Конечно. Конечно, она была мамина. В сказке мать принцессы умерла, когда та была совсем маленькой, и всё, что осталось от матери, — это вещи, воспоминания и фея-крёстная, которая, если Элара правильно помнила сюжет, была не столько помощницей, сколько ещё одним инструментом системы.

— Прости, — сказала Элара. И это было искреннее, чем любое слово, которое она произносила в прошлой жизни. — Я не знала. Это было глупо с моей стороны.

Мира посмотрела на неё с удивлением. Как будто «прости» было словом на иностранном языке, которое она слышала впервые.

И в этот момент за спиной Элары раздался топот. Быстрый, яростный, не заботящийся о том, что в замке, вероятно, есть правила о тишине в коридорах.

— Ваше величество!

Голос был женским, резким, с той хрипотцой, которая бывает у людей, которые много кричат и мало спят. Элара обернулась и увидела женщину лет пятидесяти — коренастую, широкоплечую, с седыми волосами, собранными в тугой пучок, и с лицом, на котором были написаны двадцать лет верной службы и двадцать лет бессильной ярости.

Марго. Старшая служанка. Няня Миры. Элара знала её из сюжета — второстепенный персонаж, который в каноне пытался защитить принцессу и, вероятно, был за это наказан.

Сейчас Марго не выглядела второстепенной. Она выглядела как медведица, которая нашла охотника рядом со своим медвежонком.

— Отойдите от неё, — прошипела Марго, бросаясь вперёд и хватая Миру на руки. Девочка прижалась к ней мгновенно, автоматически, как к единственному безопасному месту в мире. Марго обняла её так, что костяшки пальцев побелели, и повернулась к Эларе с выражением лица, которое могло бы остановить кавалерийскую атаку.

— Вы уже сделали своё дело, ваше величество, — сказала она, и каждое слово было пропитано ядом, который копился, судя по всему, не один месяц. — Ваза разбита, ребёнок напуган, коридор залит водой. Чего ещё вы хотите? Хотите, чтобы она извинилась? Она уже извинилась. Хотите, чтобы она стояла в углу? Она простояла час, пока вы не соизволили прийти и довершить начатое. Оставьте её в покое. Прошу вас. Хотя бы сегодня.

Элара смотрела на Марго и чувствовала, как внутри неё поднимается не гнев, не обида, а что-то гораздо более тяжёлое: признание. Марго была права. Не в том, что Элара сделала это — она не сделала, она только что проснулась в этом теле, — а в том, что это тело сделало. Что эта женщина, эта «предшественница», уже начала свою роль, уже ломала ребёнка, уже превращала семилетнюю девочку в тот самый комок страха, который сидит на полу и ждёт удара.

И Марго защищала Миру так, как Элара хотела бы, чтобы кто-то защищал её клиентов. Яростно, безнаказанно, не заботясь о последствиях.

«Я не могу её за это винить, — подумала Элара. — Если бы я была на её месте, я бы сделала то же самое. Я бы тоже ненавидела женщину, которая обижает ребёнка, которого я люблю.»

— Вы правы, — сказала Элара тихо.

Марго замерла. Мира подняла голову от её плеча и посмотрела на Элару с тем же удивлением, что и раньше.

— Простите, — сказала Марго, и в её голосе промелькнуло замешательство, которое она тут же подавила. — Что?

— Вы правы, — повторила Элара. — Я не должна была… — Она осеклась. Что она не должна была делать? Она ничего не делала. Но тело делало. И для Марго, для Миры, для всех в этом замке разницы не было. — Я не буду больше. Это не обещание — я знаю, что вы мне не верите. Но я не буду.

Марго смотрела на неё долгую, напряжённую секунду. Потом фыркнула — коротко, презрительно, как человек, который слышал слишком много обещаний и ни одно из них не было выполнено.

— Пойдём, мышонок, — сказала она Мире, разворачиваясь. — Пойдём, я тебе чаю сделаю. Настоящего, с мёдом, а не ту бурду, которую на кухне варят.

Мира кивнула, прижимаясь к её шее. Но перед тем как Марго унесла её за угол, девочка оглянулась. Один быстрый взгляд — через плечо Марго, через осколки вазы, через лужу, в которой отражались свечи. Взгляд, в котором страх уже не был абсолютным. В нём появилась маленькая, хрупкая, пугающая трещина — то, что Элара в прошлой жизни называла «началом доверия» и что было самым опасным моментом в терапии, потому что если доверие будет сломано, восстановить его будет в десять раз сложнее.

Элара осталась одна в коридоре. С осколками. С лужей. С холодом, который пропитал ночную рубашку и добрался до кожи.

Она сидела на полу ещё пять минут. Потом встала — чужое тело поднялось легко, без хруста в коленях, и это до сих пор раздражало — и пошла обратно в свою комнату.

***

Ночью она не могла уснуть.

Не потому что кровать была неудобной — кровать была абсурдно удобной, как облако, которое кто-то набил пухом и шёлком и положил на матрас из чистого комфорта. Не потому что было холодно — камин, который она растопила с третьей попытки (оказалось, что чужое тело не умеет обращаться с кремнём, и ей пришлось учиться заново, обдирая пальцы в кровь), давал достаточно тепла. А потому что мозг не выключался.

Он крутил, как проектор, всё, что произошло за день. Зеркало. Лицо. Шкаф. Записку от «Т.» Плач в коридоре. Глаза Миры. Руки Марго. И то, как её собственное — не собственное — тело дёрнулось к девочке, как рука, которая помнит насилие лучше, чем мозг помнит милосердие.

«Мне нужно знать, что она делала, — подумала Элара, переворачиваясь на спину и глядя на балдахин. — Мне нужно знать, что это тело совершило до моего прихода. Потому что если я не знаю — я не могу это исправить. А если не могу исправить…»

Она не додумала. Не хотела.

Встала. Подошла к столу у окна. Свитки, чернильница, перо — всё то, что она видела утром и не стала трогать, потому что была слишком занята экзистенциальным кризисом. Теперь она начала рыться систематически.

Свитки — хозяйственные отчёты. Расходы на зерно, на дрова, на содержание конюшни. Скучно, но полезно: она узнала, что замок называется Альтенвальд, что сейчас октябрь и что предыдущая «Элара» подписывала документы размашистым, агрессивным почерком, который врезался в бумагу, как нож.

Ящики стола — пустые, кроме одного. В нижнем правом ящике, под фальшивым дном, которое Элара нашла случайно, зацепившись ногтем за щель, лежала тетрадь. Кожаный переплёт, потёртый, с замком, который не был заперт — видимо, предшественница не считала нужным прятать свои мысли от кого-либо. Или не успела.

Дневник.

Элара открыла его и начала читать.

Первые записи были обычными. Жалобы на мужа, который уехал и не пишет. Жалобы на слуг, которые «смотрят косо». Жалобы на погоду, на еду, на то, что платья жмут в талии. Нормальные, человеческие жалобы, от которых Эларе стало почти жаль эту женщину — потому что она узнавала в них себя. Ту себя, которая сидела в школьном кабинете и думала: «Если Рено ещё раз не позвонит, я…»

Но чем дальше, тем записи становились темнее.

«Мира смотрит на меня так, будто я её обидела. Я не обижала. Я просто сказала, что её платье некрасивое. Это правда. Почему все считают, что я должна нянчиться с чужим ребёнком?»

«Марго опять встала между нами. Я сказала ей, что она служанка и должна знать своё место. Она заплакала, но не ушла. Ненавижу её за это.»

«Сегодня Мира пела в саду. Громко, фальшиво, ужасно. Я вышла и сказала, чтобы она замолчала. Она замолчала. И больше не пела. Почему мне от этого не легче?»

Элара читала и чувствовала, как внутри неё нарастает тошнота — не физическая, а моральная, та самая, которую она испытывала, когда читала дела о домашнем насилии и понимала, что абьюзер когда-то тоже был ребёнком, которого никто не любил правильно.

Последние записи были короткими. Обрывистыми. Почерк изменился — стал рваным, лихорадочным, с кляксами, как будто рука тряслась.

«Зеркало заговорило. Я не спрашивала. Оно само.»

«Оно сказало, что Мира станет красивее меня. Что это неизбежно. Что так написано.»

«Я смотрю на неё и вижу, как она растёт. Каждый день — чуть выше, чуть светлее, чуть больше похожа на мать. А я — я старею. Зеркало показывает мне морщины, которых ещё нет, но которые будут. Скоро.»

Последняя запись. Датирована тремя днями назад — за три дня до того, как Элара проснулась в этом теле.

«Зеркало сказало, что она станет красивее меня. Я не могу это допустить. Я не могу. Я не…»

На этом запись обрывалась. Перо, видимо, выпало из руки. Или было вырвано. Или предшественница просто не смогла дописать, потому что Сюжет — тот самый невидимый Сюжет, о котором Элара пока знала только понаслышке — уже начал действовать, уже подминал её под себя, уже превращал обычную, уставшую, одинокую женщину в «злую мачеху из сказки».

Элара захлопнула дневник.

Села в кресло. Посмотрела на камин, в котором догорали угли, на окно, за которым была тьма и лес, на зеркало в углу, которое всё ещё было закрыто тканью, но ткань, ей показалось, шевелилась, как будто под ней кто-то дышал.

«Ну спасибо, — сказала она вслух, в пустую комнату, голосом, который уже начинал казаться ей почти своим. — Теперь мне ещё и с магическим расизмом разбираться. И с зеркалом, которое токсичнее, чем мой бывший муж. И с Сюжетом, который решил, что я — расходный материал для чужой истории.»

Она помолчала.

«Но знаешь что? — сказала она зеркалу, или Сюжету, или тому, кто назначил её на эту роль. — Я пятнадцать лет работала с детьми, которых ломали взрослые. Я видела, что остаётся после того, как "сказка" заканчивается. И я не дам тебе сломать эту девочку. Даже если для этого мне придётся сломать тебя.»

Зеркало не ответило. Ткань замерла.

Но Элара была уверена — почти уверена, — что под тканью кто-то улыбнулся.

Глава 3. Правила замка

Утро началось с того, что Элара попыталась открыть окно и чуть не выпала из реальности.

Не физически — физически она стояла на твёрдом каменном полу, в ночной рубашке, с растрёпанными волосами и с тем выражением лица, которое у неё в прошлой жизни появлялось в понедельник утром, когда будильник звонил в шестой раз. Но когда она распахнула ставни, за окном оказался не тот пейзаж, который она видела вчера.

Вчера — если «вчера» вообще имело смысл в мире, где ты умерла и проснулась в чужом теле, — за окном был двор с пустым фонтаном и стенами. Сегодня за окном был лес. Тот самый, тёмный, бесконечный, с деревьями, которые стояли так плотно, что между ними не было видно неба. Лес подступал к самому окну, ветки царапали стекло, и в их переплетении Элара увидела что-то, похожее на глаза.

Она моргнула. Лес исчез. За окном снова был двор, фонтан, стены. Обычное осеннее утро, серое и мокрое.

«Ладно, — подумала она, закрывая ставни. — Галлюцинации от стресса. Бывает. У Софи были хуже.»

Но когда она открыла следующее окно — в коридоре, через три двери от спальни, — за ним оказалась зима. Снег, сугробы, замёрзшее озеро. А в окне напротив — лето, яркое, ослепительное, с бабочками, которые бились о стекло, как маленькие безумные фонарики.

Три окна. Три времени года. В одном замке. В одном коридоре. В одно и то же утро.

Элара стояла посередине коридора, в ночной рубашке, босая на холодном камне, и думала: «Это не галлюцинации. Это декорации. И кто-то забыл их синхронизировать.»

Она вернулась в спальню, нашла в шкафу наименее зловещее платье — тёмно-синее, без ворона, без шипов, только с подозрительным количеством пуговиц на спине, — оделась с помощью горничной, которая появилась из ниоткуда и не задала ни одного вопроса, и решила, что ей нужна разведка.

В прошлой жизни, когда к ней приводили нового ребёнка, она всегда начинала с того же: осмотр территории. Где входы и выходы. Где безопасные углы. Где прячутся триггеры. Где ребёнок чувствует себя спокойно, а где — замирает. Замок, решила она, — это просто очень большой и очень странный кабинет. И ей нужно его прочитать.

***

Первое, что она заметила, — это числа.

В замке всё было кратно трём. Три коридора на каждом этаже. Три лестницы, соединяющие этажи. Три окна в каждой комнате — даже в кладовках, где окна были не нужны и выходили в глухую стену, но всё равно были, маленькие, с витражными стёклами, изображающими розы, воронов и короны. Три свечи в каждом подсвечнике. Три ступени перед каждой дверью — и Элара пересчитала дважды, чтобы убедиться: ровно три, ни больше, ни меньше.

«Сказочное число, — подумала она. — Три желания. Три брата. Три испытания. Три медведя, три стула, три тарелки каши. Этот мир буквально построен на тройках, как моя школа была построена на расписании звонков.»

Второе — лестницы. Она начала спускаться из спальни на первый этаж и обнаружила, что ступени считают себя. Не метафорически — буквально: когда она наступала на первую ступень, в воздухе возникало тихое, едва слышное «раз», как шёпот, который мог быть эхом, а мог быть голосом. На второй — «два». На тринадцатой — «тринадцать». И так далее, до самого низа, где шёпот замолкал с почти осязаемым облегчением.

Третье — двери. Некоторые из них вели не туда, куда должны были. Элара открыла дверь, за которой, по логике архитектуры, должна была быть кухня, и оказалась в бальном зале. Открыла дверь из бального зала — и вышла в сад, хотя сад был на другой стороне замка. Попробовала вернуться тем же путём — дверь из сада вела в библиотеку.

«Пространство здесь не евклидово, — подумала она, и эта мысль была на удивление спокойной. — Оно нарративное. Двери ведут туда, куда нужно Сюжету, а не туда, куда нужно мне.»

Она вспомнила, как в прошлой жизни Адриан нарисовал дом без окон. «Это мой дом», — сказал он. И она тогда подумала, что дом без окон — это метафора замкнутости, изоляции, невозможности выйти. Теперь она стояла в замке, где двери вели не туда, и понимала Адриана чуть лучше, чем ей хотелось бы.

***

Ключевой момент наступил, когда она попыталась выйти за пределы замка.

Ворота были открыты. За ними — дорога, прямая, мощёная, уходящая в лес. По обеим сторонам — поля, жёлтые от осени, с редкими деревьями и стайками ворон, которые сидели на заборах и смотрели на неё с тем выражением, которое у ворон, вероятно, означает «ну наконец-то».

Элара шагнула за ворота. Прошла десять метров. Двадцать. Пятьдесят. Дорога была ровной, воздух — свежим, пахло землёй и дымом. Всё было нормально. Почти.

На сотом метре она поняла, что стоит перед воротами замка.

Не дошла до них. Не повернула. Не заблудилась. Просто — шла прямо, ни разу не свернув, и оказалась там, откуда начала. Как на беговой дорожке, которая создаёт иллюзию движения, но оставляет тебя на месте.

Она попробовала ещё раз. И ещё. Результат тот же: прямая дорога, ровные шаги, и через сто метров — ворота, фонтан, мшистая статуя.

«Петля, — подумала она. — Я в петле. Или в декорации, у которой нет задника. Как в театре, где за кулисами — кирпичная стена, и актёр может уйти только в ту сторону, в которую ему разрешено.»

Она вернулась во двор и села на край фонтана. Камень был холодным, через платье пробирался ветер, и где-то в глубине замка били часы — три удара, хотя было, судя по солнцу, около девяти утра. Три удара. Конечно.

И тут она сделала то, что, наверное, не стоило делать. Но она была психологом, а психологи — это люди, которые не могут не проверить гипотезу, даже если гипотеза пугает.

Она сказала вслух:

— Жили они долго и счастливо.

Ничего не произошло.

Она повторила громче:

— Жили они долго и счастливо.

Воздух сгустился.

Не метафорически — физически. Как будто кто-то налил в пространство мёд: он стал вязким, тяжёлым, давящим на уши и на грудь. Слова, которые она произнесла, повисли в воздухе и не рассеялись, а замерли, как мухи в янтаре. И потом — медленно, с почти осязаемым усилием — начали распадаться. Буквы отваливались от слов, как штукатурка от стены. «Счастливо» треснуло пополам. «Долго» рассыпалось в пыль. «Жили» — последнее — продержалось дольше всех, но и оно погасло, как свеча на ветру.

Элара закашлялась. Горло горело, как будто она пыталась проглотить стекло. Воздух вокруг неё дрожал, и на долю секунды она увидела — или ей показалось, что увидела, — трещину в небе. Тонкую, тёмную, как волосок на фарфоровой чашке, которая вот-вот разобьётся.

Потом всё вернулось к норме. Воздух стал обычным. Небо — серым. Ворона на заборе каркнула и улетела.

Элара сидела на фонтане, держась за горло, и думала: «Этот мир не позволяет финала. Фраза "жили они долго и счастливо" — это конец истории. А история ещё не закончена. Значит, реальность физически не даёт мне произнести финал, потому что финал ещё не наступил. Я в середине. В середине чужой сказки, из которой не могу выйти, и в которой не могу даже сказать, что всё закончилось хорошо, потому что это будет ложью, а этот мир, apparently, не терпит ложных финалов.»

Она вспомнила, как в прошлой жизни клиенты иногда говорили ей: «Я уже выздоровел, правда?» — и она видела, что нет, не выздоровел, но они так хотели, чтобы это было правдой, что начинали верить в собственный финал, и это было самым опасным моментом, потому что ложный финал — это не конец, это обрыв. И после обрыва всегда наступает рецидив.

«Этот мир знает то, что я знала как психолог, — подумала она. — Нельзя закончить историю раньше времени. Нельзя сказать "всё хорошо", когда всё не хорошо. И если ты попытаешься — реальность треснет.»

Она встала, отряхнула платье и пошла обратно в замок. Ей нужен был разговор с кем-то, кто понимает правила. И, судя по записке на тумбочке, этого кого-то звали Генрик.

***

Генрик нашёл её раньше, чем она нашла его.

Она сидела в малой гостиной — комнате с тремя окнами (разумеется), тремя креслами и тремя гобеленами, на которых были вышиты три сцены из какой-то истории, которую Элара не узнала, — когда дверь открылась без стука и вошёл мужчина.

Среднего возраста. Худой, как жердь, с острым носом, острыми скулами и глазами цвета разбавленного кофе — не тёмными, не светлыми, а какими-то промежуточными, как будто он сознательно выбрал самый незаметный цвет из палитры. Одет в серое — серый камзол, серые брюки, серые сапоги, — и эта серость была не скромностью, а стратегией: он сливался со стенами, с камнем, с пылью, как человек, который привык быть фоном.

В руках — стопка свитков, перевязанных красной лентой. Не чёрной, не тёмной — красной. Единственное яркое пятно во всей его внешности, и Элара, как психолог, мгновенно заце-

пилась за эту деталь: «Он позволяет себе один акцент. Один. Значит, он контролирует всё остальное.»

— Доброе утро, ваше величество, — сказал он, не кланяясь. Точнее, кланяясь, но минимально — кивок головы, который мог быть поклоном, а мог быть просто привычкой. — Я Генрик, королевский советник. Вы, вероятно, помните меня из записки его величества.

«Не помню, — подумала Элара. — Но ты не знаешь, что я не помню, и я не буду тебя разочаровывать.»

— Помню, — сказала она. — Садитесь.

Генрик сел. Разложил свитки на столе перед собой с точностью хирурга, раскладывающего инструменты. Открыл первый.

— Утренний доклад, — сказал он тоном человека, который читает этот доклад каждый день и давно перестал находить в нём что-то интересное. — Урожай пшеницы на юге — восемьдесят процентов от нормы, дожди повредили посевы. Торговцы из восточных провинций просят снизить пошлину на шёлк, я пока отказал, но они будут давить. Конюх жалуется, что северная лошадь хромает, ветеринар нужен, но бюджет… — Он поднял глаза. — Вам скучно.

— Нет, — соврала Элара. — Продолжайте.

— Я закончу быстро, потому что хозяйственные вопросы — не то, зачем я пришёл. — Он отложил свиток и посмотрел на неё тем самым взглядом цвета разбавленного кофе, в котором неожиданно появилась острота, как лезвие, спрятанное в рукаве. — Я пришёл, потому что Сказание о Белой Принцессе входит в фазу Пробуждения. И вам, как антагонистке, положено начать действовать.

Тишина.

Элара смотрела на него. Он смотрел на неё. Где-то за окном каркнула ворона — одна, не три, и это почему-то показалось Эларе важным.

— Простите, — сказала она, и голос её был ровным, хотя внутри всё сжалось в тугой узел. — Что?

Генрик вздохнул. Не раздражённо — устало. Тем самым вздохом, который Элара знала наизусть: вздох человека, который объясняет очевидное и знает, что его не услышат. Она сама так вздыхала, когда в сотый раз объясняла родителям, что их ребёнок не «ленивый», а в депрессии.

— Сюжет, — сказал он, как будто это слово было таким же обычным, как «урожай» или «пошлина». — В этом мире у каждой истории есть Сюжет. Это не метафора, ваше величество. Это сила. Невидимая, но осязаемая — как гравитация, только для событий, а не для тел. Он направляет, давит, подталкивает. Персонажи чувствуют его как зуд — навязчивую мысль, которую невозможно прогнать. «Сделай это. Скажи это. Иди туда.» И если долго сопротивляться… — Он пожал плечами. — Сюжет начнёт действовать через «случайности». Лестница

сломается. Яблоко появится на столе. Охотник «случайно» окажется в лесу рядом с принцессой. Вы понимаете, о чём я.

Элара понимала. Она понимала это лучше, чем он думал, потому что в прошлой жизни она видела то же самое — не Сюжет, не сказочную магию, а систему. Систему, которая давит на людей, загоняет их в роли, заставляет играть по сценарию, который они не писали. Семья, школа, общество — все они были Сюжетами, и все они давили, и все они ломали тех, кто не вписывался.

Но одно дело — знать это как метафору. Другое — сидеть в замке, где двери ведут не туда, где за окнами три времени года одновременно, и где воздух густеет, когда ты пытаешься сказать «жили они долго и счастливо».

— И вы… знаете об этом? — спросила она осторожно. — Осознанно?

— Я — советник, — сказал Генрик, и в этом слове было столько усталости, что Эларе захотелось предложить ему чай и кушетку. — Я видел это не раз. Не в первый цикл, не во второй. Сюжет повторяется, ваше величество. Новые лица, новые декорации, но структура — та же. Принцесса, мачеха, охотник, лес, яблоко, гроб, поцелуй, финал. Я — функция. Моя роль — быть рядом с антагонистом и помогать ей… выполнять квоту.

— Квоту?

— Минимальный объём злодейства, необходимый для того, чтобы Сюжет не начал импровизировать. — Он сказал это так, будто говорил о налогах. — Если антагонист не делает достаточно плохих вещей, Сюжет начинает делать их сам. Через случайности, через других персонажей, через «совпадения». И тогда — поверьте — бывает хуже. Гораздо хуже. Потому что Сюжет не знает меры. Он знает только структуру. Ему нужна принцесса в гробу и мачеха на костре, и ему всё равно, сколько людей пострадает по дороге.

Элара молчала. В голове крутилось столько мыслей, что они начали сталкиваться друг с другом, как шарики в пинболе.

— Вы говорите об этом так спокойно, — сказала она наконец.

— А как мне говорить? — Генрик посмотрел на неё, и в его глазах было что-то, что она узнала мгновенно: выгорание. Настоящее, глубокое, то самое, которое она видела в зеркале за год до смерти. — Я не герой, ваше величество. Я не злодей. Я — бухгалтер. Я считаю, сколько злодейства нужно, чтобы Сюжет не сошёл с рельсов, и пытаюсь минимизировать ущерб. Ваша предшественница… — Он осёкся, потом продолжил: — Она тоже сначала сопротивлялась. Первые полгода. Потом Зеркало начало показывать ей старение, и она сломалась за неделю. Я помогал ей, потому что Сюжет давил на меня — сделать меня пособником. Вы казались мне самым простым способом выполнить квоту. Но вы… — Он прищурился, изучая её, как документ, в котором нашёл ошибку. — Вы изменились за ночь. Это интересно.

— Изменилась? — переспросила Элара, хотя знала, о чём он.

— Вчера вы кричали на Миру за разбитую вазу. Сегодня вы сидели с ней на полу и говорили, что ваза была уродливой. — Он наклонил голову. — Это не в каноне. Это не в

Сюжете. И это пугает меня больше, чем всё остальное, потому что когда персонаж начинает импровизировать, Сюжет обычно реагирует… жёстко.

Элара смотрела на него и думала: «Он не злодей. Он — я. Та я, которая пыталась держать систему в равновесии, не ломая её, потому что знала: если система рухнет, пострадают дети. Он минимизирует ущерб. Он делает то, что может, в рамках того, что ему дозволено. И он устал. Так же, как я устала.»

— Генрик, — сказала она, и он вздрогнул — видимо, предшественница не называла его по имени. — Что будет, если я откажусь от роли? Полностью. Не буду делать ничего из того, что требует Сюжет.

Он помолчал. Долго. Потом сказал тихо, без привычной деловитости:

— Сюжет найдёт замену. Или заставит вас через тело. Вы не первая, кто спрашивает, и не первая, кто надеется. Но правила — это не стены, которые можно обойти. Это гравитация. Можно прыгнуть, но упадёшь всё равно.

Он встал, собрал свитки, завязал красную ленту. У двери остановился.

— Один совет, ваше величество. Не от меня — от человека, который видел сорок два цикла. Если вы хотите выжить, не боритесь с Сюжетом напрямую. Он сильнее. Найдите обход. Лазейку. Трещину в структуре. Они есть — у каждой системы есть слабые места. Но ищите осторожно. Сюжет не любит, когда его читают.

Он ушёл. Дверь закрылась за ним без звука, и Элара осталась одна в гостиной с тремя окнами, тремя креслами и тремя гобеленами, на которых — она только сейчас заметила — были вышиты три сцены из сказки о Белой Принцессе. Мачеха перед зеркалом. Принцесса в лесу. Стеклянный гроб.

Три сцены. Три акта. Три шага до финала, в котором её сожгут.

***

Она бродила по замку ещё час, переваривая разговор. Слова Генрика крутились в голове, как карусель, и каждый оборот приносил новую деталь, новый вопрос, новый страх.

«Сюжет — это гравитация. Нельзя бороться напрямую. Нужен обход.»

Это она понимала. В прошлой жизни она тоже не могла бороться с системой напрямую — с бюрократией, с родителями, которые отказывались признавать проблемы, с директорами, которые хотели «тишины», а не «скандалов». Она находила обходы. Лазейки. Компромиссы, которые выглядели как уступки, но на деле были минами замедленного действия. Она умела играть в долгую.

Но здесь ставки были другими. Здесь на кону была не карьера и не репутация, а жизнь семилетней девочки и, вероятно, её собственная.

Она свернула в очередной коридор — четвёртый на этом этаже, что нарушало правило трёх и заставило её насторожиться, — и оказалась перед тронным залом.

Двери были приоткрыты. Внутри — полумрак, пыль, тишина. Трон на возвышении — огромный, резной, с подлокотниками в виде львиных голов, которые выглядели так, будто тоже устали рычать. Пустые скамьи вдоль стен. Потолок, уходящий в темноту, как небо, в котором погасли звёзды.

И в центре зала — Зеркало.

То самое. Из её спальни. В раме из чёрного металла, со змеями и шипами, покрытое тёмно-зелёной тканью с серебряной вышивкой. Элара узнала его мгновенно — не по форме, не по размеру, а по ощущению. По тому, как воздух вокруг него был чуть теплее, чуть гуще, чуть живее, чем в остальном зале. По тому, как пыль кружилась не хаотично, а по спирали, как будто подчиняясь невидимому притяжению.

Оно было здесь. В тронном зале. А не в её спальне, где она оставила его вчера.

«Оно переместилось, — подумала она, и холодок пробежал по спине, несмотря на то, что тело было чужим и, теоретически, не должно было реагировать на её страхи. — Или оно всегда было здесь, а в спальне была копия. Или оно — не предмет, а персонаж, и оно ходит, куда хочет.»

Ткань на Зеркале шевельнулась.

Не от сквозняка — в зале не было сквозняка, воздух был неподвижным, как в склепе. Ткань шевельнулась сама, как грудь спящего человека, который вот-вот проснётся. Вдох. Выдох. Вдох. И под тканью — что-то тёмное, мерцающее, как свет, который пробивается сквозь закрытые веки.

Элара стояла в дверях тронного зала и смотрела на Зеркало, и Зеркало — она была в этом уверена — смотрело на неё. Не отражением, не стеклом, а чем-то другим. Чем-то, что было старше замка, старше сказки, старше самого Сюжета, который, по словам Генрика, управлял этим миром.

«Ты ждёшь, — подумала она. — Ты ждёшь, что я подойду. Что я спрошу. Что я запущу триггер, и сказка начнётся по-настоящему.»

Она не подошла.

Она сделала шаг назад. Потом ещё один. Потом развернулась и пошла прочь — быстро, не оглядываясь, с тем упрямым спокойствием, которое в прошлой жизни помогало ей уходить из чужих квартир, где пахло алкоголем и насилием, и не бежать, потому что бегство — это признание, что ты боишься, а страх — это то, чего система ждёт от тебя больше всего.

За спиной, из тронного зала, донёсся звук. Тихий, едва слышный, как шелест страницы, которую кто-то переворачивает в пустой комнате.

Не голос. Не слово. Но Элара поняла его так же ясно, как понимала молчание Адриана, когда он рисовал дом без окон.

Зеркало сказало: «Скоро.»

Элара не ответила. Она шла по коридору, и ступени под ногами шептали «раз, два, три», и за окнами менялись времена года, и где-то в глубине замка плакала девочка, которая ещё не знала, что её судьбу уже написали, и женщина, которая умерла от усталости в прошлой жизни, думала:

«Хорошо. Скоро. Но не сегодня. Сегодня я найду обход. Сегодня я найду трещину. Сегодня я начну читать эту сказку не как персонаж, а как редактор.»

Она свернула за угол и столкнулась с Марго, которая несла поднос с чаем и посмотрела на неё с тем же подозрением, что и вчера.

— Ваше величество, — сказала Марго холодно. — Вы заблудились?

— Нет, — сказала Элара. — Я изучаю правила.

Марго фыркнула и прошла мимо. Но Элара заметила, что на подносе, рядом с чашкой для Миры, стояла вторая чашка. Чуть больше, с трещиной на ручке.

Для неё.

Марго не доверяла ей. Марго её ненавидела. Но Марго принесла ей чай.

«Лазейка, — подумала Элара, глядя вслед служанке. — Первая трещина в структуре.»

И пошла за ней.

Глава 4. Ты прекрасней всех, к сожалению

Элара откладывала этот разговор два дня.

Не из трусости — хотя трусость, как она знала из профессионального опыта, была не столько слабостью, сколько рациональной оценкой рисков, и в данном случае риски были вполне реальными. Нет, она откладывала, потому что понимала: Зеркало — это не предмет, с которым можно разобраться между завтраком и обедом. Зеркало — это триггер. Кнопка запуска. Тот самый момент в терапии, когда клиент впервые произносит вслух то, что мучило его годами, и после которого назад уже не вернуться.

Но на утро третьего дня она проснулась с мыслью, что если будет откладывать и дальше, то Сюжет — эта невидимая гравитация, о которой говорил Генрик, — начнёт действовать сам. Через «случайности». Через совпадения. Через лестницы, которые ломаются, и яблоки, которые появляются из ниоткуда. И тогда разговор с Зеркалом состоится не на её условиях, а на его.

А Элара пятнадцать лет учила клиентов одному простому правилу: если неизбежный разговор всё равно состоится, лучше провести его первым.

Она встала. Умылась водой из кувшина, которая пахла розами и чем-то металлическим — как кровь, замаскированная под парфюм. Оделась в то же тёмно-синее платье, потому что в шкафу не было ни одного, которое не выглядело бы как костюм для похорон, и это, по крайней мере, было нейтральным. Расчесала волосы — чужие, тяжёлые, чёрные, как чернила, — и поймала себя на мысли, что делает это с той же механической усталостью, с которой в прошлой жизни чистила зубы в шесть утра перед двенадцатичасовым рабочим днём.

Потом пошла в тронный зал.

***

Зеркало ждало.

Она знала, что оно будет ждать, потому что Зеркало — это не мебель, которую можно переставить или забыть в углу. Зеркало — это функция. Инструмент. Тот самый, который в сказке запускает весь конфликт: мачеха спрашивает, Зеркало отвечает, мачеха сходит с ума, принцесса страдает, все несчастны, финал кровавый, занавес.

Ткань на нём шевелилась сильнее, чем два дня назад. Не просто «вдох-выдох» — теперь под зелёным шёлком что-то пульсировало, как сердцебиение, как ритм, который совпадал с её собственным пульсом. И это было неприятно. Не пугающе — неприятно. Как когда в прошлой жизни клиент начинал дышать в такт с тобой, и ты понимал, что граница между «я» и «он» стирается, и это значит, что сессия зашла слишком глубоко.

Элара остановилась в трёх шагах от Зеркала. Руки — чужие, длинные, с перламутровыми ногтями — сжались в кулаки.

«Ладно, — подумала она. — Ты психолог. Ты проводила первые сессии с подростками, которые угрожали тебе стулом. Ты разговаривала с матерью, которая кричала, что ты разрушила её семью, потому что посоветовала её сыну не бить одноклассников. Ты можешь поговорить с зеркалом.»

Она шагнула вперёд и стянула ткань.

Шёлк соскользнул с рамы, как кожа со змеи, и упал на пол бесформенной кучей. И Зеркало — огромное, в раме из чёрного серебра, со змеями, шипами и закрытыми глазами — мгновенно загорелось.

Не огнём. Не светом. Чем-то другим. Стекло, которое секунду назад было просто стеклом — чистым, холодным, мёртвым, — вдруг стало глубоким, как колодец, и в этой глубине что-то зашевелилось. Цвета, тени, обрывки образов, которые мелькали слишком быстро, чтобы их рассмотреть, как каналы телевизора, который кто-то переключает с бешеной скоростью.

А потом — голос.

Он не шёл из Зеркала. Он шёл отовсюду: из стен, из пола, из воздуха, из её собственных костей, как будто Зеркало было не предметом, а средой, в которую она только что вошла. Голос был… скучающим. Не зловещим, не демоническим, не тем бархатным басом, которым в филь-

мах говорят древние артефакты. Нет. Это был голос клерка, который в пятый раз за день объясняет клиенту, что форма 7-Б заполняется в трёх экземплярах, и нет, исключений не бывает.

— Наконец-то, — сказал голос. — Ты должна спросить, кто прекрасней всех на свете. Это триггер твоей арки. Давай, спрашивай.

Пауза.

Элара смотрела на Зеркало. Зеркало смотрело на Элару — не отражением, а тем самым мерцающим нечто в глубине стекла, которое, она была уверена, имело форму, просто не хотело её показывать.

— Нет, — сказала Элара.

Тишина.

Не та тишина, которая бывает в замке по утрам, — объёмная, давящая, с эхом. Эта тишина была другой. Ошарашенной. Как будто Зеркало — древний артефакт, инструмент Сюжета, голос нарративной структуры, — только что получило пощёчину и не могло решить, обидеться или переспросить.

— …Что значит «нет»? — Голос потерял часть своей бюрократической невозмутимости. В нём появилась трещина — тонкая, но отчётливая, как трещина в фарфоре, который уронили на кафель. — Ты… ты должна спросить. Это канон. Это триггер. Это первая сцена второго акта, без которой вся структура…

— Я поняла, — перебила Элара. — Ты объясняешь мне мою роль. Я это уже слышала — от Генрика, от дневника предшественницы, от собственного тела, которое дёргается к ребёнку, как марионетка. Я в курсе. И мой ответ — нет.

— Но… почему?

И в этом «почему» было столько искреннего недоумения, что Элара почти пожалела его. Почти.

— Потому что мне тридцать восемь лет, — сказала она, и голос её был ровным, хотя внутри что-то дрожало, как струна, которую перетянули. — У меня за плечами развод, ипотека, пятнадцать лет работы с травмированными детьми и смерть от инфаркта в пустом школьном кабинете. Мне плевать, кто прекрасней всех на свете. Я видела, как четырнадцатилетняя девочка режет себе руки, потому что считает себя уродливой, и я бы отдала всё — всё, — чтобы у неё не было зеркала, которое подтверждает её страхи. Так что нет. Я не буду спрашивать. У тебя есть функция полезнее? Погоду показывать? Расписание автобусов?

Зеркало молчало.

Потом стекло начало мерцать. Быстрее, ярче, лихорадочнее, как экран компьютера, который завис и пытается перезагрузиться. Цвета в глубине смешались, закрутились, и Элара поняла, что Зеркало не просто молчит — оно глючит. Оно никогда не получало отказа. В сорока двух циклах, о которых говорил Генрик, все сорок две мачехи подходили к нему и

задавали один и тот же вопрос, потому что Сюжет давил, потому что роль требовала, потому что vanity — это самый простой крючок, на который ловится человек, которому больше не за что держаться.

А Элара не зацепилась. И Зеркало не знало, что делать с антагонистом, который не хочет быть антагонистом.

— Это… это не предусмотрено, — пробормотал голос, и в нём уже не было скуки. Было что-то похожее на панику. — Протокол не включает отказ. Я не могу… Мне нужен триггер, чтобы запустить арку зависти. Без арки зависти нет конфликта, без конфликта нет трансформации принцессы, без трансформации нет…

— Нет финала, — закончила Элара. — Я знаю. Генрик объяснил. Но это твоя проблема, не моя.

— Это наша проблема! — Зеркало почти крикнуло, и тронный зал дрогнул. Пыль посыпалась с потолка. Львиные головы на подлокотниках трона, ей показалось, поморщились. — Если арка не запустится, Сюжет запустит её сам. И тогда будет хуже. Гораздо хуже. Ты не понимаешь, что такое Сюжет без контроля. Это не гравитация — это цунами.

— Я понимаю, — сказала Элара тихо. — Но я не буду играть в игру, в которой семилетний ребёнок должен страдать, чтобы я могла почувствовать себя красивой. Это не моя цена. Ищи другого игрока.

Зеркало замолчало. Стекло потемнело, как небо перед грозой. И потом — без предупреждения, без перехода, как удар в лицо — оно начало показывать.

***

Сцены возникали в стекле одна за другой, яркие, контрастные, как те самые иллюстрации в детской книжке, которые так пугали маленькую Лину.

Первая сцена: Элара — не она, а та, другая, каноничная мачеха — стоит на кухне и держит в руках яблоко. Красное, идеальное, с каплей росы на кожуре, которая блестит, как слеза. Мачеха подносит к яблоку шприц — тонкий, стеклянный, с жидкостью цвета изумруда, — и вкалывает яд. Её лицо — спокойное, сосредоточенное, как у хирурга. Как у человека, который делает то, что должен, и не задаёт вопросов.

Вторая сцена: лес. Охотник — высокий, широкоплечий, с лицом, на котором написано «я не хочу этого делать, но у меня нет выбора» — ведёт за руку маленькую девочку. Миру. Мира плачет, но тихо, потому что она уже научилась плакать тихо, и охотник не смотрит на неё, потому что если посмотрит, то не сможет выполнить приказ.

Третья сцена: стеклянный гроб. Мира лежит в нём, бледная, неподвижная, с руками, сложенными на груди, как кукла, которую убрали в коробку. Вокруг — цветы, свечи, какие-то карлики, которые рыдают. И над гробом — принц, красивый, безупречный, с лицом, на котором нет ни одной живой эмоции, только «скорбь по сценарию». Он наклоняется. Целует. Мира открывает глаза. Все счастливы. Финал.

Элара смотрела на эти сцены и чувствовала, как внутри неё поднимается тошнота — не от ужаса, а от узнавания. Она видела это раньше. Не в сказках — в жизни. Яблоко со шприцем — это мать, которая даёт ребёнку «успокоительное», потому что «он слишком громкий». Охотник в лесу — это отец, который отвозит дочь к бывшей жене и не забирает обратно, потому что «так будет лучше для всех». Стеклянный гроб — это подросток, который лежит в больнице после передозировки, и все вокруг говорят «какое счастье, что он выжил», но никто не спрашивает, почему он хотел умереть.

Сказка не была метафорой. Сказка была зеркалом. И Зеркало показывало ей не фантазию — а то, что она видела каждый день в течение пятнадцати лет.

— Довольно, — сказала она. Голос дрогнул, но она не отступила. — Я видела это. Я видела это в реальности, и мне не нужна сказочная версия. Выключи.

Но Зеркало не выключилось. Оно показало ещё одну сцену.

И эта сцена была не из сказки.

***

Школьный кабинет.

Маленький, тесный, с обшарпанными стенами и окном, за которым — ноябрьская тьма и мигающий фонарь. На подоконнике — сетка с мандаринами, забытая третьеклассником. На столе — стопка карточек с именами. На диване в углу — женщина.

Элара.

Та Элара. В своей блузке, которую она надела утром, не глядя. С волосами, собранными в пучок, из которого выбиваются пряди. С тёмными кругами под глазами, которые не берёт ни один консилер. Она лежит на диване, который коротковат для её роста, и ноги свисают с подлокотника. Глаза закрыты. Грудь едва поднимается.

И потом — не поднимается совсем.

Сцена была тихой. Никакой драмы, никаких спецэффектов, никакой музыки. Просто женщина на диване, которая перестала дышать. Часы на стене тикают. Фонарь за окном мигает. Мандарины на подоконнике пахнут — она знала, что пахнут, потому что помнила этот запах, — и никто не приходит, потому что уборщица придёт только в восемь утра, а до восьми ещё одиннадцать часов, и за эти одиннадцать часов никто не заметит, что школьный психолог мёртв, потому что школьный психолог — это функция, а функции не замечают, пока они не сломаются.

Элара — новая Элара, в чужом теле, в чужом замке, в чужой сказке — стояла перед Зеркалом и смотрела на свою смерть, и руки её дрожали так, что ногти стучали по ладоням, как кастаньеты.

Это не было каноничной сценой. Это не было частью сказки. Это было её. Личное. Настоящее. То, что она не рассказала никому, потому что некому было рассказать, и то, что Зер-

кало вытащило из глубин её памяти — или из глубин Сюжета, который, apparently, знал о ней больше, чем она сама.

«Ты показываешь мне это, чтобы я сломалась, — подумала она, и мысль была холодной, как лёд, как камень, как тот самый фонтан во дворе, в котором не было воды. — Ты показываешь мне мою смерть, чтобы я поняла, что я — расходный материал. Что я уже умерла один раз и умру снова, и ничего не изменится, и сказка состоится, и принцесса будет спасена, и мачеха сгорит, и все будут счастливы, кроме тех, кто на самом деле страдал.»

Она отвернулась.

Не резко — медленно, с тем усилием, которое нужно, чтобы оторвать взгляд от раны, которую ты не можешь зашить. Руки дрожали. Горло горело. Глаза были сухими, потому что слёзы — это роскошь, которую она не могла себе позволить ни в прошлой жизни, ни в этой.

— Это нечестно, — сказала она тихо, спиной к Зеркалу. — Это нечестно даже по твоим меркам.

Зеркало молчало. Потом — тише, чем раньше, почти виновато, как ребёнок, который показал слишком страшную картинку и понял, что перегнул палку, — произнесло:

— Я не выбирал, что показывать. Сюжет выбирает. Я — просто экран.

Элара закрыла глаза. «Просто экран». Она знала это чувство. Быть просто экраном, на который проецируют чужие боли, чужие крики, чужие молчания, и не иметь права сказать «хватит», потому что ты — функция, и функция не имеет чувств, и функция не устаёт, и функция не умирает на диване в пустом кабинете, потому что функция — это не человек.

«Но ты — не просто экран, — подумала она, и эта мысль пришла откуда-то из глубины, из того самого места, где хранились все непрожитые слёзы и все несказанные слова. — Ты показал мне мою смерть, и в твоём голосе была вина. Экраны не чувствуют вину.»

Она не сказала этого вслух. Не сейчас. Но запомнила.

— Я ухожу, — сказала она, направляясь к двери. — И я не буду спрашивать, кто прекрасней. Найди другой триггер. Или не находи. Мне всё равно.

Она была уже у двери, когда Зеркало заговорило снова. Голос был тихим, торопливым, с той интонацией, которая бывает у людей, которые понимают, что теряют контроль над ситуацией и пытаются ухватиться за последнюю соломинку.

— Ты не можешь не играть, — прошептало оно. — Сюжет уже запустил сцену с яблоком. Проверь кухню.

Элара остановилась. Не обернулась.

— Какое яблоко? — спросила она, хотя уже знала ответ.

— Красное, — сказало Зеркало. — Идеальное. На кухонном столе. Оно появилось час назад. Кухарка клянётся, что не покупала. — Пауза. — Ты не можешь его игнорировать. Оно не исчезнет. Оно будет возвращаться, сколько бы раз ты его ни выбрасывала. Это не предмет — это сюжетная точка. И она уже активна.

Элара стояла в дверях тронного зала, и за её спиной Зеркало мерцало в полумраке, как больной глаз, и воздух пах воском и чем-то сладким, и где-то в глубине замка били часы — три удара, всегда три, — и она думала о яблоке, которое появилось из ниоткуда, и о девочке, которая спала этажом выше, и о том, что в сказке яблоко — это всегда яд, и о том, что в жизни яд — это не всегда яблоко, иногда это слово, иногда это молчание, иногда это записка на тумбочке, в которой четыре слова и ни одного «люблю».

— Проверь кухню, — повторило Зеркало, тише, почти шёпотом. — Пожалуйста.

И в этом «пожалуйста» было что-то, что заставило Элару насторожиться. Потому что артефакты, инструменты Сюжета, голоса нарративной структуры — они не говорят «пожалуйста». Они говорят «ты должна». Они говорят «так написано». Они говорят «сопротивление бесполезно».

А это Зеркало сказало «пожалуйста».

Как человек, который устал. Как функция, которая хочет, чтобы кто-то наконец решил проблему вместо неё. Как школьный психолог, который пятнадцать лет говорил «я помогу» и умер, потому что никто не помог ему.

Элара не ответила. Но она пошла на кухню.

Не потому что Зеркало приказало. Не потому что Сюжет давил. А потому что она была психологом, и когда ей говорили, что в комнате ребёнка появился опасный предмет, она шла и убирала его. Всегда. Независимо от того, кто просил и в какой форме.

Это была не роль. Это была привычка. И привычки, как она знала, переживают даже смерть.

Дверь тронного зала закрылась за ней. Зеркало осталось в темноте, мерцая под тканью, которую кто-то — не Элара, не она — снова набросил на раму, как одеяло на спящего, который ворочается во сне.

И в тишине зала, где пыль кружилась по спирали и львиные головы на троне смотрели в пустоту, Зеркало сказало — так тихо, что его не услышал бы никто, кроме, может быть, Сюжета, который, впрочем, и так всё слышал:

— Сорок третья. И первая, которая сказала «нет».

Пауза.

— Наконец-то.

Глава 5. Яблоко на столе

Кухня оказалась единственным местом в замке, которое пахло по-человечески.

Не воском, не пылью, не теми выдохшимися духами, которые пропитали спальню и коридоры, как запах болезни пропитывает палату. Здесь пахло хлебом. Тёплым, настоящим, с хрустящей коркой и тем чуть кисловатым ароматом закваски, который Элара помнила из детства — из бабушкиной кухни, где она пряталась от маминых звонков и сестриных криков, уткнувшись носом в полотенце.

Кухня была огромной, с потолком, уходящим в темноту, и тремя очагами (разумеется, тремя), из которых горел только один. Медные кастрюли висели на стенах, как щиты в арсенале. Пучки сушёных трав свисали с балок — розмарин, тимьян, что-то с фиолетовыми цветами, названия которого Элара не знала. В углу стоял стол для разделки, весь в порезах и пятнах, и этот стол был, пожалуй, самой честной вещью во всём замке: он не притворялся декорацией. Он был инструментом, и он работал.

У стола стояла женщина.

Коренастая, широкобёдрая, с руками, которые выглядели так, будто они могли замесить тесто и задушить быка с равной лёгкостью. Фартук в муке, платок на голове, лицо — круглое, красное, с морщинами вокруг глаз, которые говорили о том, что их обладательница много смеялась и много хмурилась, причём хмурилась чаще.

— Оливия, — сказала Элара, потому что имя пришло откуда-то из глубин чужой памяти, как приходят имена людей, которых ты не видел десять лет, но узнаёшь по походке. — Доброе утро.

Оливия обернулась. И замерла.

В её глазах мелькнуло то самое выражение, которое Элара видела у Марго, у слуг в коридорах, у всех, кто знал предыдущую хозяйку этого тела: страх, замаскированный под почтительность, почтительность, замаскированная под нейтральность, и под всем этим — усталость человека, который каждый день ждёт удара и каждый день удивляется, что удар ещё не пришёл.

— Ваше величество, — сказала Оливия, вытирая руки о фартук. — Я… не ждала вас. Завтрак будет через час, как обычно, я готовлю кашу для принцессы и…

— Я не за завтраком, — перебила Элара. — Я за яблоком.

Оливия моргнула.

— Простите?

— Яблоко, — повторила Элара и кивнула в сторону стола. — Вот это.

На столе, посередине чистой деревянной поверхности, лежало яблоко.

Оно было красным. Не просто красным — красным так, как бывают красными только яблоки на иллюстрациях в детских книжках: ровный, насыщенный, почти светящийся цвет,

без единого пятнышка, без единой вмятины, без той естественной асимметрии, которая бывает у настоящих фруктов, выросших на настоящем дереве под настоящим дождём. Это яблоко выглядело так, будто его нарисовали. Или заказали у реквизитора. Кожица блестела, как лакированная. На черенке — один листок, зелёный, упругий, дерзко торчащий вверх, как флаг на вершине горы, которую только что покорили.

И оно было тёплым. Элара это почувствовала ещё до того, как дотронулась: от яблока шло тепло, как от живой руки, как от чашки чая, которую кто-то только что поставил и забыл.

— Это не моё, — сказала Оливия быстро, и в её голосе прозвучала паника — настоящая, не наигранная, паника человека, который понимает, что происходит что-то неправильное, но не может это объяснить, потому что объяснение звучит безумно. — Я не покупала яблок. Я не приносила яблок. У нас нет яблок, ваше величество, октябрь на дворе, сады пустые, последние сняли ещё в сентябре, и те были мелкие, кислые, на компот годились, а не на… не на это.

Она указала на яблоко пальцем, как указывают на дохлую крысу на пороге.

— Оно появилось само, — прошептала Оливия. — Час назад. Я пришла замешивать тесто, а оно уже лежало. Вот так. Посередине стола. Как будто его кто-то положил. Но в кухне никого не было. Я одна. Я всегда одна в это время.

Элара смотрела на яблоко и думала о том, что в прошлой жизни, когда к ней приводили ребёнка с «необъяснимым» поведением — истериками, ночными кошмарами, внезапной агрессией, — она всегда начинала с одного и того же вопроса: «Когда это началось?» И родители всегда отвечали: «Внезапно. Ни с того ни с сего. Мы ничего не делали.» А потом, через три-четыре сессии, выяснялось, что «внезапно» совпадало с разводом, с переездом, с рождением младшего брата, с чем-то, что взрослые считали незначительным, а ребёнок переживал как землетрясение.

Ничего не бывает «внезапно». У всего есть причина. Просто иногда причина — не человек, а структура. Сюжет. Гравитация, о которой говорил Генрик.

— Оливия, — сказала Элара спокойно. — Сколько лет вы работаете в этом замке?

— Двадцать три, ваше величество.

— И за двадцать три года вы когда-нибудь видели, чтобы еда появлялась сама?

Оливия побледнела. Потом покачала головой. Потом перекрестилась — быстро, привычно, как человек, который крестится не от веры, а от страха.

— В старых историях, — начала она и осеклась. — Говорят… но я не верю в старые истории, ваше величество. Я верю в муку и дрожжи.

«Правильно, — подумала Элара. — Держись за муку и дрожжи. Это единственное, что здесь настоящее.»

Она взяла яблоко.

Оно было тёплым и тяжёлым — тяжелее, чем должно быть яблоко такого размера, как будто внутри у него был не сок и мякоть, а что-то плотное, нарративное, сжатое до состояния сюжета. Кожица под пальцами была гладкой, почти маслянистой, и Элара почувствовала, как по спине пробежал холодок, потому что яблоко не пахло. Совсем. Никакого аромата, никакого яблочного запаха, только тепло и вес, и это было неправильно, потому что настоящие яблоки пахнут даже через кожуру, а это — это был реквизит. Объект. Точка в сценарии, которая приняла форму фрукта.

— Я заберу его, — сказала Элара.

Оливия кивнула так энергично, что чуть не сбила платок.

Сад за замком был тем местом, где сказочная логика проявлялась особенно нагло.

Розы цвели тремя цветами одновременно — красным, чёрным и серебристым, — и каждый куст переходил из одного цвета в другой, как хамелеон, которому скучно. Фонтан в центре сада работал задом наперёд: вода не падала вниз, а поднималась вверх, из чаши в воздух, и исчезала где-то на уровне крыш, как будто небо её втягивало. Деревья стояли кривыми, но тени от них падали ровно, игнорируя положение солнца, которое, впрочем, само не могло определиться — то выглядывало из-за облаков, то пряталось, то появлялось сразу в двух местах.

Элара нашла лопату у стены — она стояла там, прислонённая к камню, как будто ждала. Конечно, ждала. Сюжет предоставляет реквизит, когда ему нужно, чтобы сцена состоялась.

Она выкопала яму. Не глубокую — сантиметров тридцать, на дне глина и корни, — положила туда яблоко, засыпала землёй, утрамбовала ногой. Постояла минуту, глядя на свежий холмик, и почувствовала себя идиоткой. Взрослая женщина — ну, технически тридцативосьмилетняя женщина в теле тридцатилетней злодейки — закапывает яблоко в саду, как собака кость.

«В прошлой жизни я тоже закапывала проблемы, — подумала она, возвращаясь в замок. — Не буквально, конечно. Метафорически. Закапывала усталость, закапывала одиночество, закапывала тот факт, что Рено перестал смотреть мне в глаза за два года до развода. И все эти проблемы, как и следовало ожидать, прорастали обратно. Но хотя бы не через час.»

Через час яблоко лежало на кухонном столе.

То же самое. Тот же листок. То же тепло. Та же агрессивная, иллюстрационная краснота. Оливия стояла у очага, вцепившись в половник, как в оружие, и смотрела на яблоко с выражением человека, который только что увидел, как его покойная бабушка вошла в дверь и попросила чаю.

— Я не трогала, — прошептала она. — Клянусь, ваше величество, я не подходила. Оно просто… появилось. Снова.

Элара кивнула. Внутренне она была спокойнее, чем ожидала. Спокойствие было профессиональным — тем самым, которое она включала, когда Даниэль швырял стулья или когда Софи показывала ей свежие порезы и говорила «мне не больно». Спокойствие не означало, что проблемы нет. Оно означало, что паника не поможет, а методичность — может.

«Итак, — подумала она. — Яблоко возвращается. Захоронение не работает. Нужен другой метод.»

Завтрак с Мирой она решила провести осознанно.

Не из сентиментальности — хотя сентиментальность, как она знала, была не слабостью, а сигналом, что в ситуации есть что-то по-настоящему важное. Нет, она пошла в малую столовую, потому что хотела увидеть Миру в контексте, в рутине, в том самом «нормальном» режиме, в котором дети проявляют себя честнее, чем в кризисных моментах. Вазу разбить — это кризис. Завтрак — это рутина. И рутина говорит о ребёнке больше, чем любая истерика.

Малая столовая была комнатой с тремя окнами (Элара уже перестала удивляться), в которых утро колебалось между золотом и серостью, как будто солнце не могло решить, какой у него сегодня жанр. Стол — длинный, дубовый, за которым могли бы поместиться двадцать человек, — был накрыт на двоих. На одном конце — Мира. На другом — пустота.

Мира сидела прямо, как маленькая статуэтка. Голубое платье, чистое, без пятен — Марго постаралась. Волосы расчёсаны, заплетены в две косички, которые лежали на плечах симметрично, как линейки. Перед ней — тарелка с кашей, стакан молока, кусок хлеба. Мира ела кашу механически: ложка, рот, жевать, глотать, ложка, рот, жевать, глотать. Без выражения. Без пауз. Без того, чтобы посмотреть в окно, поковыряться в каше, отломить кусок хлеба и слепить из него шарик — всего того, что делают семилетние дети за завтраком, когда их не контролирует страх.

Элара села напротив. Не на другом конце стола — это было бы ошибкой, дистанция пугает напуганных детей ещё больше, — а через два стула, достаточно близко, чтобы быть в поле зрения, достаточно далеко, чтобы не вторгаться.

Мира вздрогнула. Микро-движение: плечи поднялись на полсантиметра, ложка замерла на полпути ко рту, глаза метнулись к Эларе и обратно к тарелке. Потом плечи опустились. Ложка продолжила путь. Но ритм сбился — Мира начала есть быстрее, как человек, который хочет закончить и уйти до того, как начнётся неприятный разговор.

«Она ест так, как Даниэль убирал игрушки, — подумала Элара, и внутри что-то сжалось. — Быстро, механически, без удовольствия. Не потому что хочет — потому что знает: если не уберёт, будет хуже. Это не дисциплина. Это выживание.»

— Доброе утро, — сказала Элара тихо.

Мира кивнула, не поднимая глаз.

— Каша вкусная?

Пауза. Мира посмотрела на кашу, как будто видела её впервые.

— Нормальная, — сказала она.

«Нормальная». Не «вкусная», не «невкусная», не «я не люблю кашу, можно мне блинчики». «Нормальная». Слово, которое не несёт никакой информации, кроме одной: «я не хочу привлекать внимание своим мнением, потому что моё мнение может быть неправильным, а неправильное мнение наказуемо».

Элара знала это слово. Она слышала его от десятков детей. «Нормально» — это ответ ребёнка, который научился не занимать места. Не иметь предпочтений. Не быть заметным.

— Мира, — сказала Элара, стараясь, чтобы голос звучал легко, как будто она спрашивает о погоде, а не проводит диагностику. — Что ты любишь делать?

Мира подняла голову.

И в её глазах было замешательство — настоящее, глубокое, почти экзистенциальное замешательство, как будто Элара спросила её на языке, которого не существует. Как будто сам вопрос был ошибкой, сбоем, чем-то, что не вписывается в правила мира.

— Делать? — переспросила Мира.

— Ну да. Играть, рисовать, бегать, читать, строить замки из подушек, разговаривать с кошками — что угодно. Что тебе нравится?

Мира молчала. Ложка висела в воздухе. Каша остывала. И в этой тишине Элара видела, как за глазами девочки крутятся шестерёнки — не детские, не живые, а те, что вставила в неё сказка, система, роль, которую ей назначили до рождения.

— Принцессы не делают, — сказала Мира наконец. Голос был тихим, ровным, с той интонацией, которой цитируют заученное правило. — Принцессы ждут.

Элара замерла.

Семь лет. Семь лет — и ребёнок уже усвоил пассивную роль не как навязанную, а как естественную. Не «мне не разрешают» — а «так устроены принцессы». Как закон тяготения. Как смена времён года. Как то, что солнце встаёт на востоке, а мачехи бывают злыми.

«Выученная беспомощность, — подумала Элара, и мысль была холодной, как скальпель, как тот самый камень в коридоре, на котором она сидела два дня назад. — Классическая выученная беспомощность. Селигман, 1967 год, эксперимент с собаками, которых били током, пока они не перестали пытаться убежать, даже когда дверь клетки открыли. Мира — в открытой клетке. Дверь распахнута. Но она не бежит, потому что научилась: бежать бесполезно. Ждать — безопаснее. Ждать — это то, что от неё требуют все: Сюжет, Зеркало, канон, отец, который уехал и не пишет, фея-крёстная, которая, вероятно, тоже считает, что страдание — это необходимый этап взросления.»

Элара вспомнила Софи. Четырнадцать лет, руки в шрамах, глаза, которые смотрят сквозь собеседника. «Мне не больно, когда я это делаю. Мне больно, когда я не делаю.» Софи тоже научилась ждать. Ждать, пока боль станет невыносимой, и тогда — контролировать её сама, своим способом, своим лезвием, потому что это было единственное «действие», которое ей оставили.

Мира не резала руки. Мира просто сидела и ела кашу и ждала. И это было хуже. Потому что Софи хотя бы сопротивлялась — кривым, сломанным, саморазрушительным способом, но сопротивлялась. А Мира уже сдалась. В семь лет. До того, как научилась завязывать шнурки.

— Знаешь, — сказала Элара, и голос её был ровным, хотя внутри что-то горело, как тот самый камин, в котором она собиралась сжечь яблоко, — я тоже долго думала, что должна просто ждать. Ждать, пока станет легче. Ждать, пока кто-то заметит. Ждать, пока жизнь начнётся по-настоящему. И знаешь, что я обнаружила?

Мира молчала. Но ложка опустилась в тарелку, и это был прогресс.

— Жизнь не начинается, пока ты ждёшь, — сказала Элара. — Она проходит мимо. Как поезд, на который ты не села, потому что стояла на перроне и думала, что тебе не положено ехать.

Мира посмотрела на неё. Долго, внимательно, с тем выражением, которое Элара видела у Адриана, когда он впервые заговорил после трёх месяцев молчания: не доверие ещё, но любопытство. Трещина в броне. Щель, через которую можно просунуть палец и попробовать открыть дверь.

— А вы… делаете? — спросила Мира тихо.

— Пытаюсь, — сказала Элара честно. — Получается не всегда. Но я пытаюсь. И ты можешь попробовать. Например, можешь сказать мне, что каша невкусная, если она невкусная. Я не буду ругаться. Обещаю.

Мира посмотрела на кашу. Потом на Элару. Потом снова на кашу.

— Она немного пересолена, — прошептала она.

Элара улыбнулась. Не широко — широко улыбающиеся мачехи в сказках обычно что-то замышляют, — а чуть-чуть, уголками губ, как человек, который только что получил самый важный подарок в своей жизни.

— Спасибо, — сказала она. — Я передам Оливии.

Яблоко она сожгла после завтрака.

Не в кухонном очаге — Оливия и так была на грани нервного срыва, и Элара не хотела добавлять к её проблемам зрелище горящего фрукта, который не хочет гореть. В камине малой гостиной, где огонь был большим, жадным и равнодушным к сюжетным тонкостям.

Яблоко загорелось не сразу. Сначала кожица вздулась, как волдырь, потом потрескалась, и из трещин пошёл пар — белый, густой, пахнущий не яблоком, а чем-то химическим, как клей или лак. Потом мякоть начала чернеть, скукоживаться, превращаться в уголь, и листок на черенке свернулся, как паук, который притворяется мёртвым. Наконец, яблоко лопнуло — тихо, без драмы, — и рассыпалось в пепел, который осел на дне камина серым, невзрачным пятном.

Элара смотрела на пепел и думала: «В прошлой жизни я тоже жгла мосты. Уходила от людей, стирала номера, выбрасывала фотографии. Думала: если уничтожить — исчезнет. Но проблемы не горят. Проблемы — это не бумага. Они возвращаются в другой форме, в другом месте, в другое время, и ты стоишь перед ними и думаешь: "Я же тебя уже сожгла. Чего ты хочешь?"»

На следующее утро яблоко лежало на кухонном столе. Целое. Нетронутое. Листок был даже бодрее, чем раньше, как будто огонь пошёл ему на пользу, как спа-процедура или курс витаминов. Оливия, увидев Элару в дверях кухни, просто молча указала на стол и вышла, бормоча что-то о том, что ей нужно перебрать картошку в подвале и она вернётся не скоро.

Элара села на стул и посмотрела на яблоко.

«Ты не предмет, — подумала она. — Ты — сюжетная точка. Генрик говорил, что если антагонист не выполняет квоту, Сюжет начинает импровизировать через "случайности". Ты — не случайность. Ты — прямое действие. Сюжет перестал ждать, пока я спрошу Зеркало, и запустил сцену сам. Яблоко — это триггер для Миры. Для принцессы. Для той самой арки страдания, о которой говорило Зеркало и о которой, вероятно, скоро заговорит кто-нибудь ещё.»

Она не стала закапывать его снова. Не стала жечь. Она взяла яблоко, положила его в карман платья — оно было тёплым, как всегда, и грело бедро, как маленькое живое существо, — и пошла проверять комнаты.

Вечером она нашла яблоко на подушке Миры.

Не на столе. Не на кухне. Не в коридоре, не в саду, не в камине. На подушке. Рядом с головой спящего ребёнка.

Комната Миры была маленькой — слишком маленькой для принцессы, слишком большой для ребёнка, который спит, свернувшись в комок и прижимая к груди потрёпанного тряпичного зайца с оторванным ухом. Кровать с балдахином, как у Элары, но балдахин был старый, выцветший, с дыркой в углу, которую кто-то пытался зашить, но бросил на полпути. Окно — одно, не три, и за ним была тьма, абсолютная, непроглядная, как будто лес придвинулся к самому стеклу и прижался к нему, как зверь, который ждёт.

Мира спала тихо. Слишком тихо для семилетнего ребёнка — без сопения, без ворочания, без тех мелких звуков, которые издают дети во сне, когда их тела растут, а мозги обрабатывают дневные впечатления. Она лежала неподвижно, на боку, с руками под щекой, и выглядела как кукла, которую положили в коробку и закрыли крышкой.

А рядом с её лицом — в десяти сантиметрах от её рта, от её закрытых глаз, от её тихого, почти неслышного дыхания — лежало яблоко.

Красное. Идеальное. Тёплое.

Элара почувствовала, как внутри неё что-то оборвалось.

Не страх — страх она знала, страх был знакомым, управляемым, профессиональным инструментом, который она использовала, чтобы оценивать риски и принимать решения. Это было не страх. Это была ярость. Холодная, белая, абсолютная ярость, которая поднималась из самого дна, из того места, где хранились все непрожитые эмоции и все проглоченные обиды, и которая говорила одним словом: «Нет.»

Сюжет целился в ребёнка.

Не в неё. Не в «злую мачеху», которая должна была отравить падчерицу по сценарию. Сюжет bypassил её, обходил её сопротивление, её отказы, её похороны и сожжения, и шёл напрямую к Мире. Яблоко на подушке — это не намёк. Это угроза. Это Сюжет, который говорит: «Если ты не дашь ей яблоко, я дам его сам. И я дам его ей во сне, когда ты не сможешь помешать.»

Элара схватила яблоко так резко, что ноготь сломался — перламутровый, ухоженный ноготь чужого тела треснул пополам, и из-под него выступила капля крови, тёмной и густой. Она не заметила боли. Она заметила только то, что Мира пошевелилась во сне, нахмурилась, пробормотала что-то неразборчивое — может быть, «не надо», может быть, «мама», может быть, просто звук, который издают дети, когда им снится что-то, чего они не могут вспомнить утром.

Элара прижала яблоко к груди и вышла из комнаты, закрыв дверь так тихо, как только могла.

В коридоре было темно и холодно. Свечи в железных кольцах не горели — Элара не знала, кто их зажигает и гасит, и подозревала, что они горят и гаснут по воле Сюжета, в зависимости от того, какая атмосфера нужна сцене. Сейчас атмосфера была «тревожная», и коридор выглядел как декорация к фильму ужасов, который сняли с минимальным бюджетом, но с максимальным энтузиазмом.

Элара стояла у стены, прижимая яблоко к груди, и думала.

«Я не могу его уничтожить. Я не могу его спрятать. Я не могу его игнорировать. Оно будет возвращаться, и каждый раз — ближе к Мире. Сначала кухня. Потом подушка. Завтра — рот. Послезавтра — она откусит его сама, потому что Сюжет заставит, потому что она принцесса, а принцессы едят яблоки, и это не её выбор, это её роль.»

Она посмотрела на яблоко. Оно лежало в её ладони, красное и безупречное, и в полумраке коридора казалось, что оно светится изнутри, как фонарик, который кто-то забыл выключить.

«А если я откушу его сама?»

Мысль пришла не как план — планы требуют времени, анализа, оценки рисков, — а как импульс. Как тот самый момент в терапии, когда клиент вдруг делает то, чего от него не ждут, и вся система сдвигается, как пазл, в котором один кусок встал на место.

Яблоко предназначено для принцессы. Для Миры. Для «Белой Принцессы», чья арка требует страдания, сна, стеклянного гроба и поцелуя незнакомца. Элара — не принцесса. Элара — антагонист. Мачеха. Та, которая должна дать яблоко, а не получить его.

Если она откусит — что произойдёт? Сюжет не рассчитан на этот вариант. В каноне мачеха не ест отравленные яблоки. Мачеха их готовит, подносит, наблюдает, как принцесса падает, и злорадствует. Мачеха не жертва. Мачеха — инструмент.

А что, если инструмент сломается?

Элара поднесла яблоко ко рту.

Оно пахло ничем. Абсолютным, стерильным ничем — как воздух в операционной, как бумага, как тот самый школьный кабинет в последние минуты её жизни, когда запахи мандаринов и слёз вдруг исчезли и осталось только ощущение, что тело выключается, как прибор, который забыли включить в розетку.

Она откусила.

Зубы проломили кожицу с хрустом, который прозвучал в пустом коридоре неестественно громко, как выстрел. Мякоть была… никакой. Не сладкой, не кислой, не горькой, не ядовитой. Никакой. Как жевать воздух. Как жевать слово, которое потеряло смысл от повторения. Яблоко было пустым, потому что оно не было фруктом — оно было нарративной точкой, сюжетным устройством, и у сюжетных устройств нет вкуса, потому что их не едят, их используют.

Элара жевала. Глотала. Ничего не происходило.

Ни яда, ни сонливости, ни драматического падения на каменный пол с яблоком, выкатывающимся из разжатой руки. Ни голоса Зеркала, ни треска реальности, ни даже лёгкого головокружения. Просто пустота во рту и тишина в коридоре, и ощущение, что она только что съела кусок декорации и декорация даже не заметила.

Она откусила ещё раз. И ещё. Яблоко уменьшалось, но не исчезало — каждый укус будто не влиял на его размер, как будто оно восстанавливалось быстрее, чем она его ела, и это было бы смешно, если бы не было так пугающе.

Потом — голос.

Не рядом. Не из стен, не из пола, не из её собственных костей, как в тронном зале. Издалека. Откуда-то из глубины замка, из тронного зала, из-под зелёной ткани, из-за закрытых дверей и трёх коридоров, и трёх лестниц, и всех тех неевклидовых поворотов, которые отделяли её от Зеркала. Голос был тихим, почти неслышным, как радио, которое играет в соседней комнате за закрытой дверью, и Элара не была уверена, что слышит его на самом деле, а не воображает.

— Ты не та цель, — сказало Зеркало. Голос был усталым, с той интонацией, которая бывает у людей, которые объясняют очевидное в сотый раз и уже не надеются, что их услышат. — Яблоко не для тебя. Оно для принцессы. Ты — антагонист, ты не можешь активировать чужую сюжетную точку. Это как… как пытаться открыть чужой замок своим ключом. Не сработает.

Пауза. Элара стояла в коридоре с надкусанным яблоком в руке и слушала тишину, которая была гуще, чем воздух, и тяжелее, чем камень.

— Но, — добавило Зеркало, и в его голосе появилось что-то новое — не скука, не паника, а что-то похожее на уважение, или на удивление, или на ту эмоцию, которую испытывает клерк, когда клиент впервые заполняет форму правильно, — попытка засчитана.

— Что значит «засчитана»? — спросила Элара вслух, в пустой коридор, голосом, который эхом отскочил от каменных стен и вернулся к ней искажённым, чужим, почти неузнаваемым.

Зеркало не ответило. Связь — если это была связь — оборвалась. Коридор снова стал просто коридором: холодным, тёмным, с потухшими свечами и запахом пыли.

Элара посмотрела на яблоко в своей руке. Оно было надкусанным — наконец-то, после всех попыток уничтожения, оно выглядело повреждённым, как настоящий фрукт, который кто-то начал есть и бросил. Но она знала, что к утру оно восстановится. Целое. Идеальное. Готовое к следующей попытке.

«Попытка засчитана, — подумала она. — Что это значит? Что Сюжет зафиксировал моё действие? Что он считает, что сцена с яблоком частично состоялась, потому что кто-то его откусил, пусть и не тот, кто должен? Что я купила время?»

Она не знала. Но она знала другое: сегодня ночью на подушке Миры яблока не будет. Сегодня ночью Мира будет спать без красного, тёплого, безвкусного ужаса рядом с лицом. И это было не победой — победа предполагает, что война закончена, а война только начиналась, — но это было передышкой. Маленькой, хрупкой, ненадёжной передышкой, которую Элара вырвала у Сюжета зубами — буквально.

Она выбросила надкусанное яблоко в окно. Оно полетело в темноту, в сад, в тот самый сад с розами трёх цветов и фонтаном, который тек вверх, и исчезло без звука, как будто темнота проглотила его и не подавилась.

К утру, она знала, оно вернётся. На кухонный стол. На подушку. В карман. В рот. Сюжет не отступает. Сюжет — это гравитация, а гравитация не знает слова «нет».

Но Элара тоже не знала этого слова. Вернее — знала, но использовала его не так, как ожидала система. Не как отказ, а как щит. Не как капитуляцию, а как оружие.

«Ты не та цель», — сказало Зеркало.

«Пока не та, — подумала Элара, возвращаясь в спальню, мимо трёх лестниц, трёх коридоров и трёх окон, за которыми были три разных времени года. — Но если понадобится — я стану. Я буду целью, я буду щитом, я буду тем, что встанет между Сюжетом и этим ребёнком, даже если для этого мне придётся съесть все яблоки во всех сказках мира.»

Она легла в кровать. Балдахин колыхался от сквозняка, которого не было. Кольцо на пальце давило, как наручник. Тело — чужое, уставшее, с надкусанным ногтем и привкусом пустоты во рту — наконец-то расслабилось.

Где-то в глубине замка били часы. Три удара. Всегда три.

Элара закрыла глаза и подумала о Мире, которая спала этажом выше, прижимая к груди зайца с оторванным ухом, и о том, что в этой сказке нет доброй феи, нет принца, нет волшебного спасения, а есть только она — мёртвый школьный психолог в теле злой мачехи, — и этого, возможно, достаточно.

Возможно.

Пока.

На кухонном столе, в темноте, в тишине, в запахе остывшего хлеба и дрожжей, из воздуха — медленно, как пузырь, поднимающийся со дна, — материализовалось яблоко. Красное. Идеальное. С одним зелёным листком, который торчал вверх, как флаг.

Оно было тёплым.

Оно ждало.

Глава 6. Первый слом

Утром яблоко лежало на кухонном столе.

Элара даже не стала заходить. Она увидела его через приоткрытую дверь — красное пятно на чистой деревянной поверхности, как капля крови на белой простыне, — и просто закрыла дверь. Оливия, которая уже стояла у очага с тем выражением лица, которое Элара мысленно окрестила «утренним апокалипсисом», молча кивнула. Они обе знали правила. Яблоко вернётся. Яблоко всегда возвращается.

«Ладно, — подумала Элара, поднимаясь по лестнице, которая шептала под ногами "раз, два, три", — хватит реагировать. Хватит закапывать, сжигать, кусать и выбрасывать в окно. Я всё ещё играю в защите, а защита — это стратегия проигрыша. Я знаю это по Даниэлю: когда он перестал швырять стулья и начал просто сидеть в углу, это был не прогресс, это была капитуляция. Настоящий прогресс начался, когда он впервые сказал "я злюсь на папу" вслух, а не телом.»

Ей нужен был план. Не реакция — действие. Не щит — меч. Или, точнее, не меч, а скальпель. Мечи в сказках обычно приводят к тому, что кого-то сжигают на костре, а скальпель — это то, чем она работала пятнадцать лет: точный, аккуратный, направленный в самую суть проблемы.

Суть проблемы, по словам Генрика, — Сюжет. Гравитация. Невидимая сила, которая давит на всех и требует, чтобы история шла по рельсам: мачеха завидует, принцесса страдает, охотник ведёт в лес, яблоко отравлено, гроб стеклянный, поцелуй чужой, финал кровавый. Если антагонист не выполняет квоту — Сюжет импровизирует сам, и тогда «случайности» становятся смертельными.

«Значит, мне нужно не отказываться от роли, — думала она, открывая дверь в малую гостиную, — а переписать её. Не "я не буду играть", а "я буду играть по своим правилам". Не бунт — редакция.»

Генрик уже сидел за столом. Три свитка, красная лента, чашка остывшего чая. Он поднял глаза, и в них мелькнуло что-то похожее на удивление — видимо, предшественница не приходила к нему с утра сама, а ждала, пока он явится с докладом, как положено злодейке, которая считает себя выше суеты.

— Доброе утро, ваше величество, — сказал он, начиная подниматься.

— Сидите, — сказала Элара и села напротив. — У меня вопрос. Не хозяйственный.

Генрик замер. Потом медленно опустился обратно в кресло и сложил руки на свитках, как человек, который готовится к неприятному разговору и хочет, чтобы его руки были заняты.

— Слушаю.

— Что будет, если я полностью откажусь от роли? Не буду делать ничего из того, что требует Сюжет. Ни яблок, ни башни, ни охотника, ни зависти, ни яда. Ничего.

Генрик молчал долго. Не задумчиво — устало. Тем молчанием, которое бывает у людей, которые уже давали этот ответ и знают, что его не услышат.

— Два варианта, — сказал он наконец. — Первый: Сюжет найдёт замену. Вас уберут — не спрашивайте как, я не хочу знать, — и назначат новую мачеху. Сорок четвёртую. Она, скорее всего, не будет такой… упрямой, как вы, и сказка пойдёт по канону. Мира окажется в гробу, принц её поцелует, вас сожгут посмертно или казнят при жизни — детали варьируются, структура неизменна.

— А второй вариант?

— Второй хуже. Сюжет не найдёт замену и заставит вас через тело. — Генрик посмотрел на неё, и в его глазах цвета разбавленного кофе было что-то, что Элара узнала мгновенно: не угроза, а предупреждение человека, который видел, как это происходит. — Предшественница пыталась сопротивляться. Первые полгода — почти успешно. Она не подходила к Зеркалу, не трогала Миру, заперлась в спальне и читала книги. Сюжет давил, но она держалась. А потом Зеркало начало показывать ей старение.

— Старение?

— Морщины. Седые волосы. Пятна на руках. Всё то, чего у неё не было, но что должно было появиться через двадцать-тридцать лет. Зеркало показывало ей будущее — её собственное, реальное, неизбежное, — и каждый день картинка становилась чуть хуже. Чуть больше морщин. Чуть темнее круги под глазами. Чуть тоньше волосы. Через неделю она вышла из спальни, подошла к Мире и сказала ей, что та уродлива. Не потому что хотела. Потому что тело сделало это за неё. Сюжет нашёл рычаг — страх старения, страх потери красоты, — и нажал. Предшественница сломалась за семь дней. После полугода сопротивления.

Элара слушала и чувствовала, как внутри неё что-то сжимается — не от страха, а от узнавания. Она знала этот механизм. Видела его в кабинете, когда клиенты, которые месяцами держались, вдруг срывались из-за мелочи: случайного слова, забытого обещания, фотографии в соцсетях. Система не ломает людей ударами — она находит трещину и давит, пока трещина не станет пропастью.

«Предшественница была не злой, — подумала Элара. — Она была напуганной. Как Софи, которая резала руки не потому что хотела умереть, а потому что боль была единственным способом почувствовать контроль. Предшественница потеряла контроль, и Сюжет забрал её тело, как река забирает щепку.»

— Значит, отказ не работает, — сказала она вслух.

— Отказ — это стена, — сказал Генрик. — А Сюжет — это вода. Он обтекает, подтачивает, находит щель. Вы не можете построить стену выше воды. Но вы можете… — Он осёкся, как будто сказал больше, чем собирался.

— Что?

— Вы можете вырыть канал. Направить воду туда, куда нужно вам, а не ей. — Он поморщился, видимо, недовольный собственной метафорой. — Это не мой совет. Это… наблюдение. За сорок два цикла я видел, что прямое сопротивление всегда проигрывает. Но те, кто пытался не отказываться, а менять правила игры изнутри, — они держались дольше. Не достаточно долго, чтобы победить, но дольше.

«Контрсюжет, — подумала Элара. — Не "я не буду играть", а "я буду играть в другую игру на том же поле". Как с Адрианом: я не заставляла его говорить, потому что это было бы насилием. Я просто сидела рядом и рисовала каракули, пока он сам не взял карандаш. Я не ломала его молчание — я создала пространство, в котором молчание перестало быть единственным безопасным вариантом.»

— Спасибо, Генрик, — сказала она, вставая.

Он посмотрел на неё с тем выражением, которое она уже начала расшифровывать: смесь надежды и страха, как у человека, который видит, что кто-то пытается разминировать бомбу, и не знает, радоваться или бежать.

— Ваше величество, — сказал он вдогонку. — Что вы собираетесь делать?

— Идти в библиотеку, — сказала Элара. — С Мирой.

Генрик моргнул.

— В… библиотеку?

— В каноне я должна запереть её в башне, верно?

— …Да.

— Башня — это изоляция. Изоляция — это лишение доступа к информации, к миру, к языку, которым можно описать то, что с тобой происходит. Я пятнадцать лет работала с детьми, которых запирали — буквально и метафорически. И я знаю, что башня не защищает принцессу. Она делает её удобной жертвой. Так что нет. Вместо башни — библиотека.

Генрик открыл рот. Закрыл. Снова открыл.

— Это… не в каноне, — сказал он слабо.

— Я знаю, — сказала Элара. — В этом и смысл.

Мира стояла в дверях библиотеки и не входила.

Комната была огромной — больше тронного зала, выше, с потолком, который терялся в темноте, как небо в безлунную ночь. Стены — от пола до потолка — были заставлены полками, и на полках стояли книги. Тысячи книг. Десятки тысяч. Кожаные переплёты, потёртые корешки, золотые буквы на корешках, свитки в тубусах, стопки пергаментов, перевязанных лентами. Воздух пах бумагой, пылью и чем-то сладковатым — как ваниль, но старше, как ваниль, которая настоялась за несколько столетий.

Мира смотрела на всё это с тем выражением, которое Элара видела у детей, впервые попавших в кабинет: смесь любопытства и ужаса, как будто комната может укусить.

— Принцессы не ходят в библиотеку, — сказала Мира тихо, не отрывая глаз от полок.

— Кто сказал?

— Все. Марго. Учителя. Зеркало в коридоре. — Мира запнулась, как будто поняла, что упомянула Зеркало, и испугалась. — Принцессам не нужны книги. Принцессам нужны песни и ожидание.

Элара почувствовала, как внутри неё закипает то самое холодное бешенство, которое она научилась прятать за спокойным лицом. «Песни и ожидание». Перевод: «сиди тихо, будь красивой, жди, пока кто-то решит твою судьбу, и не задавай вопросов». Это не воспитание. Это дрессировка. Это то, что делали с Софи, когда говорили ей «не выноси сор из избы», и с Адрианом, когда говорили «мальчики не плачут», и с Даниэлем, когда говорили «перестань истерить, ты же мужчина».

«Система не терпит вопросов, — подумала Элара. — Вопросы — это трещины в структуре. А трещины — это то, что мне нужно.»

— Знаешь, — сказала она, садясь на пол у ближайшей полки и вытягивая ноги, как садилась в коридоре рядом с разбитой вазой, — я тоже долго думала, что мне не нужны книги. Что мне нужны только чужие проблемы и чужие слёзы, а свои мысли можно отложить на потом. И знаешь, что произошло?

Мира молчала. Но она сделала шаг вперёд. Один. Маленький.

— Потом не наступило, — сказала Элара. — А книги остались. И оказалось, что в них есть ответы на вопросы, которые я боялась задать.

Она протянула руку к полке и вытащила первую попавшуюся книгу. Тяжёлая, в синем переплёте, с серебряными звёздами на обложке. Открыла наугад.

Это была не сказка. Это была книга по астрономии.

Страницы были покрыты рисунками — не иллюстрациями в привычном смысле, а схемами, картами, диаграммами. Созвездия, орбиты, фазы луны, траектории комет. Текст был мелким, плотным, на языке, который Элара, к своему удивлению, могла читать — видимо, тело предшественницы знало этот язык, или Сюжет переводил автоматически, или в этом мире грамотность была частью «злодейского пакета», как тёмные платья и высокие воротники.

— Иди сюда, — сказала Элара, похлопав по полу рядом с собой. — Я тебе кое-что покажу.

Мира колебалась. Три секунды, пять, семь. Потом подошла — не села, а встала рядом, на безопасном расстоянии, готовая отскочить, как кошка, которая не уверена, что протянутая рука не схватит.

Элара не стала настаивать. Она просто начала читать вслух.

— «Звёзды, которые мы видим ночью, — это не огоньки на потолке мира, как считали древние. Это солнца. Каждое — такое же огромное и горячее, как наше. Некоторые — в сотни раз больше. Они находятся так далеко, что их свет идёт до нас годами, столетиями, тысячелетиями. Когда ты смотришь на звезду, ты видишь не то, какая она сейчас, а то, какой она была, когда этот свет начал свой путь. Возможно, эта звезда уже погасла. Но её свет всё ещё летит к тебе, потому что расстояние — это не стена, а время.»

Мира села.

Не сразу — сначала опустилась на колени, потом, через минуту, подтянула ноги и села на пол, как Элара, обхватив колени руками. Но не в позе защиты — в позе слушателя. Её глаза, огромные, карие, были прикованы к странице, и в них было что-то, чего Элара не видела раньше: не страх, не ожидание удара, не выученную покорность, а настоящее, живое, детское удивление.

— Они… настоящие? — спросила Мира тихо. — Эти картинки?

— Настоящие, — сказала Элара. — Каждое пятнышко на этой карте — это солнце. У некоторых из них есть планеты. На некоторых планетах, возможно, есть океаны. Или горы. Или девочки, которые тоже смотрят на небо и думают, что звёзды — это огоньки на потолке.

Мира молчала. Потом протянула палец и дотронулась до рисунка созвездия — осторожно, одним пальцем, как дотрагиваются до чего-то хрупкого и драгоценного.

— А они… — начала она и замолчала.

— Что?

— А звёзды тоже ждут? — спросила Мира, и в её голосе была та самая интонация, которая бывает у детей, когда они задают вопрос, который, как они чувствуют, может оказаться глупым, но не могут его не задать, потому что он слишком важный. — Ждут, пока на них посмотрят?

Элара замерла.

Вопрос был не про астрономию. Вопрос был про Миру. Про семилетнюю девочку, которая сидит в замке и ждёт, пока кто-то заметит, что она существует. Ждёт, пока отец вернётся из похода. Ждёт, пока мачеха перестанет кричать. Ждёт, пока фея-крёстная придёт и скажет, что всё будет хорошо. Ждёт, пока принц поцелует и спасёт. Ждёт, ждёт, ждёт — потому что «принцессы не делают, принцессы ждут», и если ты перестанешь ждать, то кто ты тогда?

Элара вспомнила Адриана. Одиннадцать лет, дом без окон. «Это мой дом», — сказал он. И она тогда спросила: «А если бы ты мог нарисовать окно — что бы ты увидел за ним?» Адриан подумал и сказал: «Ничего. Там никого нет.» Он тоже думал, что звёзды ждут, пока на них посмотрят, и если никто не смотрит — они гаснут.

— Нет, — сказала Элара, и голос её был тихим, но твёрдым, как камень, на котором она сидела. — Звёзды не ждут. Они горят, даже когда никто не смотрит. Даже когда все спят. Даже когда облака закрывают небо и кажется, что звёзд нет вообще. Они горят, потому что это то, что они делают. Не для кого-то. Не ради чьего-то взгляда. А потому что они — звёзды. И горение — это их суть, а не их обязанность.

Мира смотрела на неё. Долго. С тем выражением, которое Элара в прошлой жизни называла «моментом сдвига» — тем самым мгновением, когда ребёнок впервые слышит что-то, что противоречит всему, во что он верил, и не отбрасывает это, а примеряет, как платье, которое может оказаться впору.

— Значит, — сказала Мира медленно, — если на меня никто не смотрит… я всё равно…

— Ты всё равно горишь, — сказала Элара. — Даже если папа в походе. Даже если я в другой комнате. Даже если Зеркало говорит глупости. Ты горишь, Мира. Не потому что кто-то смотрит. А потому что ты — это ты.

Мира не заплакала. Не засмеялась. Не бросилась обниматься, как в тех сказках, которые Элара читала племяннице и которые всегда казались ей фальшивыми, потому что настоящие дети не бросаются обниматься после одного разговора — настоящие дети замирают, переваривают, и только потом, через день, через неделю, через месяц, вдруг говорят что-то, что переворачивает тебе сердце.

Мира просто кивнула. Один раз. Серьёзно, как взрослая. И сказала:

— Почитайте ещё. Про ту, которая в сотни раз больше солнца.

Элара улыбнулась. И читала ещё час. Потом два. Потом Марго пришла искать Миру и застыла в дверях библиотеки, увидев их обеих на полу, среди раскрытых книг и звёздных карт,

и на её лице было выражение, которое Элара не могла расшифровать — не враждебность, не подозрение, а что-то более сложное, как будто Марго пыталась собрать пазл, в котором половина кусков потерялась, а оставшиеся не подходят друг к другу.

— Обед, — сказала Марго сухо.

— Уже? — спросила Мира, и в её голосе было искреннее удивление, и это удивление было, пожалуй, самым живым звуком, который Элара слышала от неё за все пять дней.

— Уже, — повторила Марго. Посмотрела на Элару. Посмотрела на книгу по астрономии. Посмотрела на звёздную карту, которую Мира прижимала к груди, как раньше прижимала тряпичного зайца.

— Принцессам не положено… — начала Марго и осеклась.

— Знаю, — сказала Элара. — Но звёздам всё равно.

Марго фыркнула. Но не ушла. Подождала, пока Мира встанет, и пошла рядом с ней, и Элара заметила, что Марго не забрала у девочки звёздную карту.

Вечером у Элары заболела голова.

Не обычная головная боль — не та, что бывает от усталости, от обезвоживания, от того, что ты весь день читал мелкий шрифт при свечах, потому что электричества в этом проклятом замке нет и не предвидится. Эта боль была другой. Острой, пульсирующей, сосредоточенной в одной точке — за левым глазом, как будто кто-то вкручивал туда шуруп. И вместе с болью пришло ощущение, которое она не могла описать словами: ощущение, что её лицо — не её.

Что кожа на скулах натягивается, как ткань на пяльцах. Что губы становятся тоньше, суше, как будто из них выкачали влагу. Что глаза темнеют, сужаются, приобретают тот самый «острый» взгляд, который она видела в зеркале в первый день и который принадлежал не ей, а предшественнице, а ещё раньше — каноничной злой королеве, нарисованной в детской книжке.

Элара подошла к зеркалу.

Не к тому, магическому, в тронном зале, а к обычному — маленькому, в серебряной раме, которое стояло на её туалетном столике и которое она использовала, чтобы расчёсывать волосы по утрам. Обычное зеркало. Стеклянное. Мёртвое.

Отражение моргнуло.

Не она. Отражение.

На долю секунды — на ту самую долю, которая достаточно длинна, чтобы заметить, и достаточно коротка, чтобы усомниться, — женщина в зеркале изменилась. Кожа побледнела до прозрачности, как бумага, поднесённая к свече. Губы потемнели, стали почти чёрными, как запёкшаяся кровь. Скулы заострились, как лезвия. Глаза — тёмно-зелёные, почти чёрные

— сузились и стали холодными, пустыми, мёртвыми, как глаза куклы, которую кто-то одел в королевское платье и поставил на полку.

Злая королева. Каноничная. Та самая, из книжки.

Элара схватилась за край столика. Голова раскалывалась. Боль пульсировала в такт сердцу — чужому сердцу, в чужой груди, которое билось быстрее, чем нужно, как будто тоже боялось того, что происходит с лицом.

«Сюжет маркирует тебя, — подумала она, и мысль была холодной, как лёд, как камень, как тот самый фонтан во дворе. — Генрик говорил: чем больше отклонение, тем больше тело подгоняется под роль. Ты взяла Миру в библиотеку вместо башни. Ты читала ей про звёзды вместо сказок о послушных принцессах. Ты нарушила канон, и Сюжет отвечает: раз ты не хочешь быть злодейкой по выбору, будешь по физиологии.»

Это было насилие. Не метафорическое — буквальное. Сюжет переписывал её лицо, как редактор переписывает абзац, который не вписывается в тон книги. И это было хуже, чем яблоко, хуже, чем петля за воротами, хуже, чем неевклидовы двери, потому что яблоко и двери были внешними — они давили на мир вокруг неё, — а это давило на неё саму. На её тело. На её лицо. На то единственное, что должно было принадлежать только ей.

«Как мама, — подумала Элара, и мысль пришла откуда-то из самого дна, из того тёмного места, где хранились воспоминания, которые она не разбирала даже на собственной терапии. — Как мама, которая смотрела в зеркало и говорила: "Я стала как моя мать. Я не хотела, но стала." Холодная. Жёсткая. С губами, которые не умеют улыбаться, и глазами, которые не умеют плакать. Я боялась этого всю жизнь. И вот теперь сказка делает со мной то же самое.»

Она смотрела в зеркало. Отражение смотрело на неё — чужое, злодейское, каноничное. Голова раскалывалась. Боль давила на глаза, на виски, на челюсть, как тиски, которые медленно сжимаются.

И Элара сказала — тихо, в пустую спальню, голосом, который дрожал, но не сломался:

— Нет.

Пауза. Боль не отступила.

— Моё лицо — моё, — сказала она громче. — Не твоё. Не Сюжета. Не канона. Не той женщины, которая была до меня и которая сломалась, потому что вы показали ей морщины. Моё. Я умерла с одним лицом и проснулась с другим, и я не отдам ни одно из них. Слышишь? Ни одно.

Она не знала, кому говорит. Сюжету? Зеркалу? Телу предшественницы, которое помнило насилие лучше, чем милосердие? Себе — той себе, которая лежала на диване в школьном кабинете и думала, что если отпустит, мир рухнет?

Но что-то произошло.

Боль не ушла. Она осталась — тупая, ноющая, как старая рана, которая реагирует на погоду. Но острота спала. Шуруп за левым глазом перестал вкручиваться. Кожа на скулах расслабилась. Губы вернулись к нормальному цвету — не чёрному, не запёкшемуся, а тому, который был у этого тела до того, как Сюжет начал его переделывать.

Отражение в зеркале снова стало её. Чужое, незнакомое, но — её. Не злодейское. Не каноничное. Просто лицо женщины, которая устала, но не сдалась.

Элара выдохнула. Села на край кровати. Посмотрела на свои руки — те самые, с длинными пальцами и перламутровыми ногтями, один из которых был сломан вчера, когда она хватала яблоко с подушки Миры. Руки дрожали. Не от страха — от напряжения, как после того, как весь день держишь на себе что-то тяжёлое и наконец ставишь на пол, и мышцы не понимают, что груз исчез, и продолжают сокращаться.

«Это только начало, — подумала она. — Генрик говорил: при ста процентах отклонения тело станет злодейским полностью. Не по выбору — по физиологии. Сегодня я отбила одну атаку. Завтра будет другая. Послезавтра — третья. И каждая будет сильнее, потому что Сюжет не знает усталости, а я — знаю.»

Она легла. Балдахин колыхался. Кольцо на пальце давило. Голова ныла — тупо, монотонно, как напоминание, что война не закончена, а только перешла в новую фазу.

Но перед тем как закрыть глаза, она подумала о Мире, которая сидела на полу библиотеки и дотрагивалась пальцем до созвездия на карте. О том, как Мира спросила: «А звёзды тоже ждут?» И о том, как она ответила: «Нет. Они горят, даже когда никто не смотрит.»

«Я тоже горю, — подумала Элара. — Даже когда Сюжет пытается меня погасить. Даже когда моё лицо меняется. Даже когда яблоко возвращается каждое утро. Я горю. Не для кого-то. Не ради чьего-то взгляда. А потому что это то, что я делаю. И это не обязанность. Это суть.»

Где-то в глубине замка били часы. Три удара.

Голова ныла.

Но лицо было её.

Пока.

Глава 7. Письмо, которое не отправлено

Утром голова ныла, но лицо было её.

Элара проверила это первым делом — до того, как встала с кровати, до того, как позвала кого-то, до того, как даже открыла глаза полностью. Она провела пальцами по скулам, по губам, по линии челюсти, как проверяют стены после землетрясения: нет ли новых трещин, не осыпалась ли штукатурка, не поползла ли конструкция. Скулы — на месте. Губы — нормального цвета, не чёрные, не запёкшиеся. Кожа — не прозрачная, не бумажная. Всё своё. Чужое тело, но своё лицо. По крайней мере, сегодня.

Головная боль осталась — тупая, монотонная, как фоновый шум холодильника, к которому привыкаешь и перестаёшь замечать, пока он не выключится и тишина не покажется оглушительной. Боль сидела за левым глазом и не собиралась уходить. «Хорошо, — подумала Элара, вставая и натягивая одно из тёмных платьев, которые по-прежнему были единственной одеждой в шкафу. — Ты будешь напоминать мне о себе каждый день. Я буду помнить, что ты здесь. Но я не буду тебя слушать.»

Это был тот же подход, который она использовала с хронической болью у клиентов: не игнорировать, не бороться, а признать и отодвинуть. «Боль — это сигнал, а не хозяин», — говорила она Софи, когда та приходила с новыми порезами и утверждала, что боль — единственное, что она контролирует. «Ты можешь слышать сигнал, не подчиняясь ему.»

Завтрак прошёл спокойно. Яблоко на кухне она проигнорировала — оно лежало на своём месте, красное, идеальное, тёплое, как маленькая бомба замедленного действия, но Элара уже научилась не реагировать на провокации, которые не несут немедленной угрозы. Мира ела кашу и молча листала звёздную карту, которую Марго так и не забрала вчера. Марго стояла у стены с тем выражением, которое Элара мысленно окрестила «вооружённым нейтралитетом»: не враг, не друг, наблюдатель с полномочиями на вмешательство.

После завтрака Элара пошла в кабинет Теодора.

Она не была там ни разу за все шесть дней. Кабинет находился в восточном крыле, за дверью, которая, в отличие от остальных неевклидовых дверей замка, вела именно туда, куда должна была вести, — видимо, даже у Сюжета были приоритеты, и кабинет короля не входил в список мест, где нужно путать персонажей. Дверь была дубовой, тяжёлой, с кованой ручкой в форме львиной головы, и когда Элара её открыла, петли не скрипнули. В этом замке скрипели только те двери, которые Сюжет хотел, чтобы кто-то услышал.

Кабинет был большим, тёмным и удивительно пустым для комнаты человека, который формально правил королевством. Стены — каменные, без гобеленов, без картин, только карты: три огромные карты на северной стене, все с пометками, стрелками, кружками, обведёнными красными чернилами. Карты походов. Карты границ. Карты мест, где Теодор был, а не мест, где он хотел бы быть. Стол — массивный, дубовый, заваленный бумагами, но бумаги были старые, покрытые пылью, как будто их не трогали месяцами. Кресло — кожаное, продавленное, с потёртыми подлокотниками. Камин — холодный, зола не вычищена.

Элара стояла посреди комнаты и чувствовала то, что чувствовала в квартирах клиентов, которых навещала на дому: это пространство человека, который уже ушёл, даже если физически ещё здесь. Комната Теодора была комнатой призрака — не потому что он мёртв, а потому что он отсутствовал так долго и так последовательно, что его вещи перестали его ждать. Свечи в подсвечниках оплыли и застыли. Чернильница высохла. Перо лежало рядом, а не в чернильнице, как кладут перо, когда знают, что не вернутся к письму сегодня, завтра, может быть, никогда.

«Отсутствующий отец, — подумала Элара. — Каноничная роль. Генрик говорил, что у каждого персонажа есть функция, и функция Теодора — быть далеко. Не злодеем, не спасителем, не даже второстепенным героем — просто пустым пространством в форме человека, которое заполняется только в финале, когда нужно поплакать над гробом и сказать "я не успел".»

Она знала этот тип. Видела его десятки раз. Даниэлю было восемь, и его отец каждый второй уикенд обещал забрать его на выходные, и каждый второй уикенд звонил в субботу утром и говорил: «В следующий раз, сынок, в следующий раз, у папы завал на работе». Даниэль не плакал. Он швырял стулья. Потому что гнев — это единственная эмоция, которую восьмилетний мальчик может выразить, не чувствуя себя слабым. А Теодор? Теодор не швырял стулья. Теодор уезжал на границу и писал письма, которые не отправлял, и, возможно, это было его версией швыряния стульев — крик, который никто не слышит, потому что он заперт в ящике стола.

Ящик стола.

Элара подошла и выдвинула верхний ящик. Пусто — только перья, сургуч, нож для бумаги. Второй ящик: счета, доклады, какие-то военные сводки. Третий — заперт. Ключа не было, но замок был старым, простым, и Элара, которая в прошлой жизни вскрывала шкафы с конфискованными вещами подростков (и однажды — сейф в кабинете директора, когда нужно было достать личное дело ученика до того, как его исключат), справилась с помощью ножа для бумаги и шпильки за сорок секунд.

Внутри лежала деревянная шкатулка. Простая, без украшений, из тёмного дерева, с потёртой крышкой. Элара открыла её.

Письма.

Десятки писем. Сложенные аккуратно, каждое в отдельном конверте, конверты не запечатаны — просто загнуты, как загибают страницу книги, чтобы не потерять место. На каждом конверте — имя: «Мире». Не «Её Высочеству Принцессе Мире», не «Наследнице Престола», а просто «Мире», тем самым торопливым, угловатым почерком, который Элара узнала по записке на тумбочке: «Уехал на границу. Вернусь к зиме. Т.»

Она вынула первое письмо. Развернула. Бумага пожелтела — этому письму было года два, не меньше.

«Моя дорогая девочка. Я пишу тебе из лагеря у Восточного перевала. Здесь холодно, и горы выглядят так, будто кто-то поставил их слишком близко друг к другу, как книги на полке, которые не помещаются. Я думаю о тебе каждое утро, когда просыпаюсь, и каждый вечер, когда засыпаю, и ещё несколько раз днём, когда вижу что-то, что ты бы хотела потрогать — странный камень, или птицу с синими перьями, или облако, похожее на корабль. Я обещаю, что вернусь к твоему дню рождения. Я привезу тебе что-нибудь настоящее, не из замка, а из мира. Люблю тебя. Папа.»

Элара сглотнула. Вынула второе письмо.

«Мира. Я не приехал на день рождения. Я знаю. Я обещал, и я не сдержал слово, и я не буду придумывать оправданий, потому что ты заслуживаешь правды, а правда в том, что граница не отпустила, и я сказал себе, что если уеду — начнётся война, и тогда ты будешь в опасности, и я решил, что лучше ты будешь злиться на меня, чем бояться войны. Я не знаю, правильно ли это. Наверное, нет. Но я не могу быть в двух местах одновременно, и я выбрал то, которое казалось мне более опасным. Прости меня. Я вернусь к зиме. Я обещаю.»

Третье. Четвёртое. Пятое.

Каждое письмо — маленькая исповедь. Каждое — полное любви, вины и обещаний, которые Теодор не мог выполнить, потому что обещания были написаны ночью, в палатке, в тишине, когда Сюжет спал или отвлёкся на что-то другое, а утром, когда солнце вставало и трубы играли подъём, Сюжет снова брал его за плечи и шептал: «Твоя роль — быть далеко. Ты нужен на границе. Ты нужен в походе. Ты нужен везде, кроме дома.» И Теодор подчинялся, потому что подчинение было его второй натурой — он был солдатом до того, как стал королём, и солдаты не спорят с приказами, даже если приказ отдаёт невидимая сила, которую он не может назвать.

Последнее письмо в шкатулке было не закончено.

«Моя маленькая звезда. Сегодня я увидел поле белых цветов у восточного перевала и вспомнил, как ты однажды сказала, что белые цветы пахнут громче всех. Я не знаю, правда ли это, но я наклонился и понюхал, и ты была права — они пахли так громко, что у меня закружилась голова. Я хочу привезти тебе букет, но цветы завянут в дороге, и тогда я подумал: а что, если я привезу тебе семена? Ты посадишь их в саду, и они будут расти, и каждый раз, когда ты будешь проходить мимо, ты будешь знать, что папа помнит про белые цветы, и про то, как они пахнут, и про то, как ты сказала "громче", и я…»

Письмо обрывалось. Чернильная клякса в конце — как будто перо соскочило, как будто рука дёрнулась, как будто кто-то вошёл в палатку и сказал: «Ваше величество, пора», и Теодор положил перо, свернул письмо, убрал в шкатулку и больше к нему не вернулся.

Элара сидела в кресле Теодора и держала незаконченное письмо в руках. Пальцы дрожали — не от холода, не от головной боли, а от того самого чувства, которое она испытывала, когда читала личные дела клиентов и видела за сухими строчками «агрессивное поведение» и «девиантное развитие» живого ребёнка, который просто хотел, чтобы папа пришёл на утренник.

«Он не равнодушный, — думала она. — Он слабый. Это не одно и то же, хотя результат для ребёнка одинаковый: папы нет, папа не пришёл, папа обещал и не сдержал. Но причина — разная. Равнодушный отец не пишет писем. Слабый — пишет десятки и не отправляет ни одного, потому что отправка — это действие, а действие требует противостояния Сюжету, а противостояние Сюжету — это боль, а боль — это то, чего Теодор боится больше, чем войны на границе.»

Она знала этот механизм. Видела его в кабинете, когда родители говорили: «Я хочу быть рядом, но я не знаю как», и за этой фразой стояло не нежелание, а паралич — тот самый паралич, который охватывает человека, когда он понимает, что уже пропустил слишком много, и каждый пропущенный день делает следующий шаг тяжелее, и в какой-то момент расстояние между «я хочу» и «я могу» становится таким огромным, что проще остаться на месте и страдать, чем сделать шаг и столкнуться с тем, что ты упустил.

«Сюжет не заставил Теодора уехать, — подумала Элара. — Сюжет просто сделал отъезд самым лёгким вариантом. Как река, которая находит русло: вода не пробивает камень, она обтекает его. Теодор — камень, а Сюжет — вода, и за семь лет вода проточила в нём канаву

такой глубины, что он уже не может из неё выбраться, даже если хочет. А он хочет. Письма доказывают.»

Она аккуратно сложила письма обратно в шкатулку. Все, кроме одного — того, про белые цветы. Его она сунула в карман платья, чувствуя, как бумага шуршит при каждом шаге, как маленькое сердце, которое бьётся в такт её собственному.

***

Мира была в библиотеке.

Это стало её привычкой за последние два дня — после того как Элара впервые привела её сюда, Мира начала приходить сама, тихонько, по утрам, когда Марго была занята на кухне, а коридоры замка ещё не проснулись и неевклидовы двери вели туда, куда им положено, а не туда, куда хочет Сюжет. Мира сидела на полу, в том же углу, где они читали про звёзды, и разглядывала карту созвездий, водя пальцем по линиям, которые соединяли точки в фигуры — медведицу, охотника, дракона.

Элара села рядом. Не слишком близко — два метра, как в коридоре с вазой, как в первый день, как всегда, пока Мира сама не сократит дистанцию. Мира подняла глаза, посмотрела на неё и вернулась к карте. Прогресс: шесть дней назад она бы вжалась в стену.

— Я нашла кое-что сегодня, — сказала Элара. — В кабинете твоего папы.

Мира замерла. Палец остановился на середине созвездия Охотника.

— Это письмо, — сказала Элара. — Я подумала, ты захочешь его услышать. Я не буду говорить, от кого, — добавила она быстро, видя, как глаза Миры расширились. — Просто послушай. Хорошо?

Мира кивнула. Осторожно, как кивают дети, которые не уверены, что согласие не обернётся ловушкой.

Элара достала письмо из кармана. Развернула. Бумага зашуршала в тишине библиотеки — громко, как шёпот в пустом соборе.

— «Моя маленькая звезда, — начала она читать, и голос её был ровным, спокойным, тем самым голосом, которым она читала вслух клиентам их собственные записи из дневников, чтобы они услышали себя со стороны, без искажений. — Сегодня я увидел поле белых цветов у восточного перевала и вспомнил, как ты однажды сказала, что белые цветы пахнут громче всех. Я не знаю, правда ли это, но я наклонился и понюхал, и ты была права — они пахли так громко, что у меня закружилась голова. Я хочу привезти тебе букет, но цветы завянут в дороге, и тогда я подумал: а что, если я привезу тебе семена? Ты посадишь их в саду, и они будут расти, и каждый раз, когда ты будешь проходить мимо, ты будешь знать, что папа помнит про белые цветы, и про то, как они пахнут, и про то, как ты сказала "громче", и я…»

Она остановилась. Письмо обрывалось, и тишина после последнего слова была такой густой, что Элара физически почувствовала её — как воду, как воздух, который стал слишком тяжёлым для дыхания.

Мира молчала. Потом её нижняя губа дрогнула. Потом глаза наполнились слезами — не теми, быстрыми, испуганными слезами, которые Элара видела в коридоре в первый день, а другими, медленными, горячими, настоящими, теми слезами, которые бывают, когда ребёнок слышит что-то, во что он хочет верить, но боится, потому что верить — это значит дать кому-то право сделать тебе больно.

— Папа так не пишет, — сказала Мира хрипло. — Папа пишет «будь послушной» и «слушайся Марго» и «я вернусь скоро». Папа не пишет про цветы. Папа не помнит про белые цветы. Я… я сказала ему про белые цветы, когда мне было четыре, и я думала, что он забыл.

— Он не забыл, — сказала Элара тихо.

— Забыл, — повторила Мира, и в её голосе было упрямство ребёнка, который давно решил, что мир устроен определённым образом, и любые доказательства обратного — это ошибка или обман. — Папа забывает. Папа всегда забывает. Он забыл мой день рождения. Он забыл, что я боюсь грозы. Он забыл, что я не люблю, когда в комнате темно. Он забывает всё.

Элара слушала и думала о Даниэле. «Папа не приехал. Папа забыл. Папа не любит меня.» Восемь лет, и весь мир сжался до одной точки: папа не приехал. И неважно, что у папы был завал на работе, что у папы была новая семья, что у папы была депрессия, которую он не лечил, потому что «мужчины не ходят к психологам», — для Даниэля существовал только факт: папы нет. И факт был сильнее любой интерпретации.

Но Элара знала, что интерпретация — это всё, что у нас есть. Факт — это то, что произошло. Интерпретация — это то, что мы с этим делаем. И если интерпретация «папа забыл, значит, я не важна» — это яд, который отравляет ребёнка на годы, то интерпретация «папа помнит, но не может отправить» — это не лекарство, но хотя бы не яд. Это трещина в стене, через которую можно увидеть другую сторону.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.